

Владимир Гиляровский

Рассказы и очерки



Часть сборника
Трущобные люди (сборник)



Владимир Алексеевич Гиляровский

Рассказы и очерки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173031

Гиляровский В. А. Трущобные люди: Рассказы, очерки, мемуары: Эксмо;

М.; 2007

ISBN 5-699-20003-7

Аннотация

Владимир Гиляровский не писал толстых романов и повестей, но многие из его современников ушли из памяти людской, а он остался. Нельзя забыть его – талантливого в каждой своей строке журналиста и писателя, защитника угнетенных и обиженных.

В сборник вошли рассказы и очерки о различных событиях, очевидцем которых был писатель, и людях, с которыми сводила его судьба. В этих коротких произведениях созданы яркие картины дореволюционного быта и нравов.

Содержание

ПРОКОРМИТЬСЯ БЫ	4
БЕГЛЫЙ	9
НА ПЛОТАХ	16
ВОЛЯ ПОКОЙНОГО	34
ПРЕСТУПЛЕНИЕ	44
ПРАВОО ДЕЛО	51
В ВИХРЕ	68
ПЕСНЯ	71
ВАНЯ КУЗНЕЦ	75
СУСЛИК	83
ПО СЛЕДАМ ГОГОЛЯ	122
ШИПКА	159

Владимир Гиляровский

Рассказы и очерки

ПРОКОРМИТЬСЯ БЫ

(Из жизни актеров)

Случилось мне летом 1883 года быть в городе Орле. Я остановился в гостинице, а так как день был свободный, пошел прогуляться по городу. На самой главной улице у подъезда гостиницы толкался народ, окружив какой-то громадный вагон, стоявший на улице.

– Что это там делается? – спросил я одного из лавочников.

– Актеров провожают, ну и глядят, – пояснил он мне.

Я подошел ближе, в самую толпу. Перед нами стоял громадный, старый, вылинявший рыдван, напоминавший не то «Ноев ковчег», не то самый скверный вагон железной дороги. Рыдван был запряжен четверкой заморенных лошадей самого жалкого вида. На широких оборванных козлах сидел не менее оборванный ямщик.

В толпе шли примерно такие разговоры.

– Актеров-то, гляди, как возят, в чем... – обращается мещанин к женщине.

– А рази в другом можно? Сейчас их на две половины: женское сословие в одну, мужчин в другую...

– С ними вместе и зверье посадят? – любопытствует маленький мальчик.

– Это без зверья, это другие актеры, со зверьем – зверинцы, а это киаральные, сами зверье приставляют... Сейчас удивиль есть: «Медведь и паша», так мой постоялец медведя сам в овечьем тулупе приставлял на киастре.

– Как это им охота? Тоже люди, а такими делами занимаются! Лучше бы работали...

Я невольно задумался над последней фразой.

– Вы какими судьбами здесь? – вдруг услышал я сзади.

Оглянулся – мой старый знакомый, актер Л...

– По делу приехал, – сказал я.

– А вот и мы по делу едем, – сказал Л., указывая на рыдван.

– Куда же?

– В Симбирск, верст полтора отсюда. Здесь наше дело расстроилось, сборов не было, вот и едем. Бог даст, прокормимся... Вот и наши идут. Знаком?

Из гостиницы вышли пять актеров и две актрисы. Из актеров трое были знакомы. С другими и с актрисами меня познакомил актер К.

– Ну что, все уложено? – спросил Л., одетый в русскую поддевку, подпоясанную кавказским поясом.

Из рыдвана высунулся высокий, худой, как голодный за-

яц, помощник режиссера:

– Все-с! Только водочки бы на дорожку!

– Да, надо, возьми бутылку, – сказал Л.

– Две бы взять... дорога дальняя, – несмело заговорил актер маленького роста.

– Пожалуй, две, вот восемьдесят копеек, – подал Л. деньги.

– Помилуйте, господин Л., какой расчет, а? Добавить полтинник – четверть целую и возьмем.

– Куда четверть! Две бутылки довольно.

Помощник исчез и через минуту вернулся с водкой.

– Теперь, господа, с богом, садитесь. Вы и вы, mesdames, поезжайте до заставы на извозчиках, а мы в колеснице. Проводишь нас, Владимир Алексеевич? – обратился он ко мне.

Я согласился, и мы вшестером поместились в рыдване.

– Трогай!

Ямщик затопал, зачмокал, засвистал, и рыдван закачался по скверной мостовой, гремя и звеня; каждый винтик в нем ходуном ходил.

Мы сидели шестеро, а места еще оставалось в этом ковчеге, хотя целый угол был завален узелками и картонками.

– А что, господа, в каком мы классе едем? – сострил кто-то.

Все промолчали.

Сидели мы по трое в ряд, причем помощник поместился как-то в висячем положении. Сзади на главном месте сидели

Л. и С. Последний стал актером недавно – это был отставной гусар, щеголь, когда-то богатый человек. Несмотря на его поношенный костюм, старый шик еще не покинул его. На руках были шведские сиреневые перчатки, а в глазу монокль. Третий сидел Р. Его бледное лицо, шляпа à la brigand, из-под которой светлыми прядями спускались жидкие прямые волосы, выгоревшее и поношенное пальто и сапоги в заплатках как нельзя более подходили к окружающей обстановке.

– Что будет в Симбирске? – заговорил он.

– Я думаю, что будут дела! Все-таки состав для такого города весьма недурен. Ты как думаешь?

– Я думаю, что выпить надо, – в ответ сказал С-ов.

– Что дело, то дело-с! – загозил помощник и вынул бутылку.

– Погодите, господа, за заставой выпьем, – уговаривал Л.

– Да вот и застава!

Наш рыдван выкатился за два заставных столба и мягко заколыхался по пыльной дороге.

Влево в тени берез, которыми усажена была дорога, нас уже дожидались актрисы.

Мы сели на траву. Помощник режиссера откупорил обе бутылки.

– Зачем это вы обе?

– Пить-с! Да еще я думаю бутылочку бы взять... Вот и они выпьют, – указал на меня помощник.

Л. достал серебряный стакан, рыбу-воблу и связку крен-

делей.

– И тут без кренделей не могут. Ну, актерики-с, – сострил С-ов.

– Ну-ка, отвальную, – начал Л. и налил мне водки.

Выпили, и через пять минут водки не было...

– Ну, господа, теперь в путь! – вставая, сказал Л.

Прощались. Перецеловались...

– В Москве увидимся! – крикнул из рыдвана Л.

– Увидимся постом! Желаю сотни заработать!

– Куда сотни! Дай бог прокормиться, с голоду не умереть или без платья не вернуться, – как-то печально промычал С-ов.

– До свидания!

– До свидания!

Через несколько минут рыдван скрылся за поворотом, и только долго еще треск и звон винтов и винтиков древней повозки доносились до меня по вечерней заре.

Дай им бог прокормиться!

БЕГЛЫЙ

Стояла весна. Кое-где в глубоких оврагах вековой тайги белелся снег, осыпанный пожелтелыми хвоей, а на скалах оврагов, меж зеленевшей травы кое-где выскакивали из-под серого хвороста голубоватые подснежники. Верхушки мелких сосенок пустили новые ростки, светло-зеленые, с серыми шишечками на концах, заблестали бриллиантовые слезки на стволах ели, сосны и кедра. Молодая березка зазеленила концы своих коричневых почек, а на окраинах и вся покрылась изумрудным убором, рельефно отделяясь от темной стены старых елей и сосен и еще черневшихся лиственниц.

По утрам окраины тайги оживали: тысячи птиц кричали без умолку на разные голоса. Самый воздух, согретый яркими лучами солнца, был полон весеннего аромата сосны и березовой почки, полон расцветающей жизни, полон могучей силы.

Никогда не бывает так прекрасна тайга, как весной! И чем дальше человеческое жилье, чем тайга глуше, тем она прекраснее, величественнее и тише.

В самой глуши никто не нарушит ее тихой жизни, никто не мешает ее концерту, ее гармонии.

Каждая птичка поет сама по себе, дятел сердито стучит в дерево, ловя червячков, проделавших удивительные ходы в

древесине, плачет кукушка, ветер гудит, стонут от него косматые головы седых великанов.

Всякий звук сам по себе, а дирижер – сама тайга – все эти отдельные звуки сливает в одно, и выходит концерт поразительный.

Человек заслушается этого весеннего, дикого и очаровательного таежного концерта, так заслушается, что всю жизнь тайга будет ему мерещиться и живо будет вставать в памяти.

И тем живее встает она, чем безотраднее ему. И скажет тот человек, если он болен лежит или заброшен в душный каземат, скажет одно:

– Послушать бы тайгу денек, как кукушка кукует, как дятел долбит, как ветер гудит по вершинам, послушать бы еще раз, а там хоть и умереть!

И манит тайга человека бывалого, неудержимо манит из душной тюрьмы на вольный простор.

Рискует старый бродяга попасть под плети, под меткую пулю часового, а все-таки рвется хоть денек послушать кукушку в тайге, поплакать с ней, как и он, бездомной, и умереть, отошав с голоду, или опять вернуться в тюрьму, обновленным таежной волей, до следующей весны, до следующих надежд на побег.

Бывалого бродягу зовет кукушка, а молодого удальца тянет родина далекая, дойти до которой редким приходится.

Раза два удалец попробует побороть неизмеримое расстояние тайги, раза два опять неволей вернется в каземат, а

на третий он и родину, пожалуй, готов забыть, а все-таки неудержимо бежит поплакать с кукушкой о далекой родине.

И вытягивает весна удалых добрых молодцев из-за решеток железных, из-за каменных стен, из-за острых штыков. И не страшны им в ту пору стены, не грозна смерть – они сами не помнят себя, очарованные притягательной силой благоухающей вольной тайги.

– Воля! Вот она, воля-то, где! А-ах!.. Не надышишься просто! И сосной, и березкой пахнет... А там...

Он вздохнул и задумался.

Это был плотный тридцатилетний человек, в арестантском халате и шапке без козырька.

– А-ах! Хорошо! – вздохнул он еще раз. – А чего стоило добраться сюда. Да! Даже страшно. Впрочем, чего страшного – пуля, смерть, и только. Страшно там, в этих подземельях, где, того и гляди, тебя задавят землей, как червя в норе, в темноте. Сгинешь и свету божьего не увидишь! Пуля что! Чик и шабаш! А там всю жизнь под землей, без надежды на солнышко взглянуть! Всю жизнь...

Он задумался.

– А солнышко-то, солнышко!

Бродяга прикрыл глаза сверху, как козырьком, рукой и посмотрел на запад.

А оттуда сквозь чащу деревьев прорывались режущие, ярко-красные лучи заходящего солнца. Они играли и бегали на стволах деревьев, соскакивали с них и блестящими «зайка-

ми» прыгали дальше на следующих стволах, на чуть зазеленевшейся траве, на сети сучьев.

Лучи все ярче и ярче горели, и наконец меж стволами начал скользить самый диск солнца, переливавшийся, как расплавленный металл, брызгавший сиянием ослепительных лучей.

Бродяга, стоявший на берегу лесного оврага, жмурился, а все продолжал смотреть на солнце, опускавшееся за верхушки леса.

Чем ниже опускалось солнце, тем темнее и темнее становилась пропасть оврага.

Все выше и выше бежали золотые «зайки» по старым великанам, блеснули на их шапках, прошли розовой полоской по беловатым облакам и исчезли.

Как-то сразу почернели овраг и лес, будто задернулись от света черной занавесью. Сразу холодно стало.

Бродяга вздрогнул, нащупал спички в кармане и стал опускаться на дно оврага, захватывая по пути сухой валежник.

Снизу тянуло холодом. Там еще белелся снег. Бродяга взглянул на дно и переменил свое намерение. Он опять поднялся наверх, выбрал чистую полянку, натаскал хворосту, вынул спичку, погрел ее сначала за ухом и зажег.

Чуть заметными, беловатыми полосками побежал огонь по сухому валежнику, зачернелся дым, а потом полосы огня, по мере того как темнело небо, краснели; клубы дыма ис-

чезали в темноте, сверкая по временам мчавшимися кверху звездочками искр, или прорезывались кровавыми языками пламени, когда бродяга шевелил костер или бросал свежий валежник.

Он вынул из мешка хлеб, воткнул кусок на палочку и стал жарить над угольями. Хлеб дымился, трещал и слегка обгорел.

Бродяга аппетитно понюхал, снял шапку, положил ее на колени, перекрестился и стал есть.

Свежий ветерок подул из-за оврага и гулко зашумел вершинами.

– Наш, расейский ветерок, с заката. Ишь, теплый какой!

Он подкинул еще валежнику в костер, нахлобучил шапку до ушей, устроил постель из еловых ветвей и хворосту и лег, плотно закутавшись в широкий арестантский халат.

– Дом, а не халат... Спасибо смотрителю, будто знал, что понадобится, – новый дал! – улыбнулся он.

И представилось ему, как перетрусил носастый смотритель, придиравшийся за каждую мелочь к арестантам и дрожавший, как осиновый лист, перед начальством. Вспомнился ему и последний побег из деревянной полусгнившей тюрьмы.

Ночь была такая же темная; окно его секретной камеры с заржавленной решеткой выходило в поле, за которым синела бесконечная тайга. Под окном торчали острые концы бревенчатого частокола, заменявшего тюремную стену, и за ча-

стоколом постоянно двигалась взад и вперед полоска штыка – днем синяя и ночью светлая, от красноватого отблеска закоптелого, грязного фонаря.

Он долгое время смотрел на тайгу, на частокол, на штык, мелькавший то вправо, то влево от окна.

По этому штыку можно было знать, где часовой, близко или далеко.

Тогда ночь была темная, туманная, фонарь мигал красноватою точкой среди густого весеннего тумана, как тлеет керосиновая лампа в бане.

Он выставил полугнилую раму, скрутил из белья веревку, связал этой веревкой два прута решетки, всунул в веревку полено, принесенное из коридора под халатом еще накануне, и начал его повертывать. Веревка скручивалась. Вольный, свежий ветер прорывался в тесную, душную камеру и освежал, ободрял его, уставшего до поту. Веревка скручивалась, связанные ею прутья сжимались.

С другой стороны он также связал два прута и скрутил веревку.

Образовалось отверстие, голова в него проходила свободно.

Вспомнил он, как хлопали по грязи кеньги часового, удалялся влево отблеск штыка, вспомнил он смелый прыжок, крики, выстрелы, шум сзади, свист пули около уха.

Но вспомнилось все это как-то неясно, будто давно это случилось, а не три дня назад.

А ветер все гудел вершинами...

Бродяга сквозь полусон прислушивался к этому шуму, напоминавшему ему ночи – далеко, далеко отсюда...

Яркий огонь близкого костра грел ему лоб, и сквозь закрытые веки бродяга видел, или, лучше сказать, чувствовал, сначала красное, а потом фиолетовое зарево, глазам было больно, но он напрасно напрягал усилия открыть их. При каждой тщетной попытке поднять веки зарево только принимало более яркую окраску и еще крепче сковывало глаза и усталые члены.

Он был как бы в забытьи, голова горела, мозг сжимался, грудь давило, и всевозможные картины, одна другой фантастичнее, мелькали в его воображении...

Он забыл в этот миг все, все...

НА ПЛОТАХ

Лед прошел. Вода на Москве-реке стала сбывать, а площади низин все еще были залиты на далекое пространство. По более высоким берегам синелись на черном иле надвинутые одна на другую и забытые водопольем льдины; по оврагам в виде громадных спящих чудовищ лежал снег, а на обрывах на коричневом фоне старой травы просвечивали зеленоватые пятнышки и оживляли мертвые обрывы. Река ожила. Серые чайки парили над водой, с трудом рассматривая в желтой ряби стальную полосу, камнем бросались за добычей, хлопали по воде крыльями, и трепещущая стальная полоска, извиваясь, блестела в их изогнутых клювах.

Время от времени из-за дальнего мыса выдвигалась темная масса, широкая, длинная, извивающаяся по зеркалу воды, как исполинская змея. На концах ее мерно покачивались взад и вперед высокие фигуры, и когда масса подвигалась ближе, то фигуры росли, росли и, как на волшебной декорации, обращались в мужиков и баб, усиленно поднимавших неуклюжие длинные весла на концах дровяного плота.

Один из таких плотов подходил к Москве.

На середине плота, на куче соломы, с багром в руках стоял мужик, одетый в синюю пестрядинную рубаху, жилет, который был расстегнут, лапти и овчинную шапку, заломленную на затылок. Вся фигура мужика с грудью колесом, под-

нятой головой и рукой на багре, которым он направлял оголовок плота, напоминала в общем лихого лоцмана на картинах крушений судов. Его лицо с чуть заметной растительностью, двумя клочками приткнувшейся к углам подбородка, так и горело беззаветной удалью и сознанием своей силы. Рамка волос, выбившихся из-под шапки и прилипших к изрытому морщинами лбу, была уже седовата и показывала, что сгонщику немало лет.

Плот мчался... Навстречу ему издали бежали главы церквей, красные фабрики, высокие трубы с закопченными верхушками и круглыми черными шарами. Вот белой полосой на темной перспективе замелькал ажурный Бородинский мост, полоса становилась все шире, длиннее и вдруг, освещенная мелькнувшим из-за облака солнышком, представилась плотовщикам гигантским серебряным кружевом, растянутым в воздухе между берегами реки.

– Никита Семенов, мост-от, мост-от, серебряный вроде!.. – сорвалось у кого-то из гребцов, уставившихся на панораму Москвы и лениво поднимавших весла.

А Никита весь погрузился в развернувшуюся перед ним давно знакомую картину и ничего не слышал.

Он смотрел и на кружево моста, и на дымящиеся фабрики, и на золотые главы далекого Новодевичьего монастыря, и на щетину лесистых Воробьевых гор, и на низменный Дорогомиловский берег. Каждое местечко было знакомо Никите.

Невольно всплыла в памяти Никиты первая путина на

плотах из-под Можая в Москву, когда за десять рублей ассигнациями он стоял в веслах на дровяном плоту, а потом и каждую весну стал ходить на плотях, как сделали его, удалого да ловкого, сперва канатчиком, а потом сгонщиком. И хозяин сам, бывало, на плоту стоит, а правит все Никита. Сорок одну весну на плотях ходит. А сколько горя насмотрелся он за это время! Сколько народу на его глазах потонуло, померло, без вести пропало, а уж сколько пропилося да в острогах из-за этих сплавов сгнило – и не перечесть... И вчера один канатчик потонул под Троицей. Стали на ночь канатиться, мужик-от соскочил в воду, думал, мелко, ан в глубь попал да под плот – только и видели... Может, зацепился за дерево, так до Москвы дойдет да при выгрузке всплывет синий, опухлый. А баба-то его как вчера убивалась, все в воду рвалась, так к плоту самое-то от греха привязали...

С берега неслась звонкая, заунывная песня.

– И отчего это, – взбрело Никите, – сорок годов на погонах хожу, а песен на нашей работе не слыхивал? Сапожник поет, портняга колченогий поет, столяр поет и бурлак, и тот, на что уж каторжный, тоже временем поет, а нам вот песня и на ум нейдет.

И стал Никита добиваться, отчего на плотях песня не спорится. Сообразил он, что как сел на плот, так и гребки до поздней ночи, – значит, не до песни; потом на ночь к берегу приставать, канатчик должен первый с приколом в воду соскочить, плотовщики окромя баб тоже канатиться в во-

ду лезут. Приканатились. Холод, мокреть, обсушиться негде, спать некогда – того и гляди, плот водой сорвет. Какая тут песня? А потом опять, с пустой кашицы да с черствого хлеба петь-то мало радости. И решил Никита, что в их работе петь нельзя.

Солнышко опять спряталось за тучу, и мост, вместо ласкавшего взгляд серебряного кружева, казался серой громадной массой, утвержденной на серых, мрачных скалах, несшихся навстречу плоту и грозивших разбить его вдребезги. Плотовщикам ясно виделось, что мост несется на их плот, и они боязливо косились на него, усиленное работая веслами.

– Наляг, братеники, наляг! – зычно покрикивал Никита, и гребцы, ободренные ровным, спокойным голосом первого на реке сгонщика, энергичнее налегали на весла и отводили плот на фарватер.

А мост все надвигался ближе и ближе, грознее и грознее вставал из воды каменный устой.

Плотовщики вскидывали головы время от времени, при передышке между ударами весла, различали живую стену у решетки моста и городского, бессильно старавшегося отогнать публику.

С моста доносились возгласы:

– На бык, ей-богу, на бык! Во налетит... Вдребезги...

– Куда правишь-то, черт, пра-а черт!.. – Последний эпитет относился к Никите.

А опасность была близка. Плот несло прямо на каменный

устой, и публика, охотница до ужасных зрелищ, приготовилась видеть крушение.

– Наляг, братеники, наляг! – громче прежнего донеслось до зрителей, и они видели, как еще крепче мужики налегли на весла, как Никита багром отделил с одной стороны на аршин оголовок плота от длинного туловища, как это туловище дрогнуло, изогнулось змейкой в дугу, как оголовок с шестью низко нагибавшимися в веслах мужиками и двумя бабами исчез под мостом и весь плот, минувя устой, помчался туда же.

– Мама, мы поехали, а плот остановился, – услышали сверху гребцы детский голос, вскоре заглушенный под мостом отголоском ударов весел, плеском воды о каменные устои и грохотом от перебежавшей на другую сторону моста публики.

Плот вынырнул на другой стороне и прямо как стрела продолжал нестись. Гребцы бросили весла и смотрели назад, на народ.

Никита, весь сияющий, без шапки обернулся лицом к мосту и раскланивался.

– Молодец, счастливо, с прибытием! – кричали ему.

– Наляг, братеники, наляг! – опять загудело по реке и раскатилось под мостом.

Опять закланялись гребцы на концах плота, зрителям плот казался все короче и короче, солома на середине плота представлялась желтым, неясным пятном, а мужики и ба-

бы потеряли человеческие формы и казались нагибавшимися очепами деревенского колодца.

Никита надел шапку и плотнее уперся багром в оголовок. Около плота мелькнули две-три небольшие лодочки с гребцом и рулевым. Из лодок торчали багры, поленья дров, доски.

– Никита Семенов, мартышки-то мыряют! – крикнул молодой парень с оголовка плота Никите.

– У нас, Ваня, не разживутся полешком... Вороны проклятые, только и ждут, как бы плот разбило где... Чужим горем кормятся!..

– Дома по Дорогомилову-то понастроили!..

– Наляг, наляг, ребятки, канатиться скоро!

Направо перед плотовщиками раскрылась необозримая равнина Красного луга, на которой, как разбросанные кусочки зеркала, блестели оставшиеся от разлива лужи, и ряд таких же зеркал, прямых и длинных, словно обрезанных по мерке, в бороздах залитых огородов. За огородами тянулся ровный ряд куполообразных ветел, а еще дальше бурый кряж голой Поклонной горы. Вдоль берега стояли вереницы плотов с желтыми пятнами соломы и дымками костров, у которых грелись бабы в желтых, как соломенные кучи, армяках.

По берегу то к городу, то обратно к плотам сновали плотовщики, другие кучками стояли по лугу.

Некоторые кучки, круглые, делали странные движения: то поднимали вверх головы, то опускали их, то все вдруг, как по

команде, наклонялись и садились на корточки, а затем опять вставали и опять смотрели в небо.

«Избалован, ах избалован плотами народ, – думал Никита, глядя на берег. – А все из-за чего?.. Деньги, кажись, трудные, а вот не жаль... Вон они в орлянку-то играют. Ишь, головы-те задрали к небу, дождя просят. Круг-то человек тридцать. Кровные денежки проигрывают, проживают. И сам пропьешь... А все хозяйева... Сейчас пригнали плот, не успеешь приканатиться хорошенько, ан хозяин с водкой, да нарочно стаканище-то норовит такой, чтобы руками не обхватить... Как не выпьешь? С мокрети да с устатку ихватишь... А как хватил – в глазах круги-круги пойдут, зеленые, желтые, красные, синие... Голова закружится – ну и пошло! Вот этот первый-то стакан отравы все наше горе и есть. А там и пошла и пошла! При расчете пьяного обочтут, в трактире тот хорош, другой лучше того, все тебя угощают, ты всех угощаешь, и деньги все! Мало того, по пьяному делу разуют-разденут люди-то добрые, да еще этапом домой ушлют: не путайся, безобразник, по городам, паши, скажут, свою полосу! А все отрава... И кажинный раз думаешь: ну ее к лысому, отраву-то – а как не выпить с устатку-то... обидится...»

Никита стоял, облокотившись на багор, смотрел на луг и бормотал.

– Дядя Никита, канатиться где будешь? – крикнули ему с оголовка.

Никита вздрогнул и огляделся.

– Вон пониже ветлы-то... Наляг, ребятки, наляг...

Плот извивался и скрипел.

Иван отделился от гребцов и перешел на середину плота. Это был молодой, могучего сложения парень в одной рубахе, с расстегнутым, несмотря на свежую погоду, воротом, без шапки и босой. Он поднял толстую с заостренным концом жердь, намотал на нее бечеву, остатки которой собрал кольцами на левую руку, и встал на край плота.

Гребцы усердно работали. Никита старательно то отводил багром, то притягивал к себе оголовок.

Плот приближался к берегу.

Еще несколько ударов весел, и он искривился. Его толкнуло снизу с такой силой, что все стоявшие на нем покачнулись.

Плотовщики бросили весла, схватили шесты и отталкивались ими от берега. Канатчик Иван с приколом в руках прыгнул в воду и окунулся до шеи. Двое других прыгнули за ним, и все трое быстро очутились на берегу.

Иван, распуская кольца бечевы по мере того, как от него удалялся плот, уносимый быстрым течением, старался всадить острый конец прикола в землю, но прикол вырывало из рук и тащило вместе с Иваном и мужиками, помогавшими ему.

Наконец удалось-таки всадить прикол и забить его чекмарем¹. Плот остановился и стал извиваться, как змея, которой

¹ Чекмарь – деревянный молот.

наступили на голову.

– Третью бечеву! Подтягивай третью...

– О-от так! Крепи ее! Крайнюю, проворней! – командовал Никита.

Веревки закреплены. Плот еще треснул раза три, заскрипели его канаты из березовых прутьев, и он остановился.

* * *

Плотовщики сошли на берег.

Их встретил толстый, как слон, хозяин и, не разгибая жирных, раздутых, как в водянке, пальцев, подал Никите руку:

– С прибытием! Блаапалушна?

– Слава богу... Без задоринки...

– Спасибо, Никитушка, спасибо... Сейчас с прибытием поздравим, а потом в трактир за расчетом.

– С прибытием-то и опосля, прежде бы рассчитаться, – нерешительно заговорил Никита, поглядывая на четвертную водки, стоявшую на земле.

– Опосля! Нешто это водится, что ты, Никита Семеныч, тебе хорошо, а...

– А другим-то плохо нешто? Перво-наперво расчет, а там всяк за свои выпьет...

– Ты сухой, а вон Ивану-то какво... – указал хозяин на дрожащего Ивана, с которого ручьями лила мутная вода.

– Ваня намок!

– Бог намочил, бог и высушит! – щелкал зубами канатчик.

– А ведь изнутри-то лучше погреться... Мишутка, наливай!

Мишутка, пятнадцатилетний сын дровяника, взял четвертную и налил чайный стакан.

– Кушай, Никита Семеныч...

– Пусть вон Ванька пьет, – аппетитно сплевывая, ответил Никита.

– Пей ты, порядок требует того...

– Пей, не морозь человека-то, – слышалось между плотовщиками.

– Пушай пьет... Нешто я причина... Пей, отравись...

– Какая отравка... Што ты... Сам выпью... – Хозяин взял стакан и отпил половину.

– Кушай ты теперь! – подал он Никите, закусывая густо насоленным хлебом.

– Пей поскорейча, дядя Никита... Холодно ведь! – нетерпеливо крикнул Иван.

– Посудина уж больно велика... захмелею, – отнекивался Никита.

– Ничего, с устатку-то!..

– Со свиданием!

Никита залпом проглотил стакан, отломил хлеба и отошел в сторону.

Угощение продолжалось. Сначала выпил канатчик Иван, а за ним и остальные, кроме баб. Их хозяин и упросить не

мог.

– Да ты пригубь, сколько можешь, Маланья.

– Не неволь: и рот поганить не буду. О празднике, живы-здоровы будем, выпьем уж.

Никита стоял поодаль и смотрел.

– Отрава проклятая, тьфу, как с голодухи-то забираючило... Вон он, народ-от, от нее, как тараканы, сонные по лугу путаются, а все отравы...

Он опять посмотрел на хозяина.

– Брюхо-то отрастил... вот бы в канатчики его на путинку, на другую, небось, стряс бы жир-то, ежели бы по-Ванькиному побегал! – добродушно улыбнулся Никита.

Ему представилось, что хозяин бежит босой за плотом, как вчера Ванька под Старой Рузой бежал: стали канатиться, а прикол-то у него вырвало, и Ванька версты четыре босой по снегу да по заливам плот догонял. И сам Никита так же, как молод был, бегивал. Ловкий был, сильный. Канатчику надо быть сильным, а сгонщику умным, чтобы течение понимать и берег, где приканатиться, разуместь.

Картины прошлого одна за другой воскресали перед Никитой.

Посреди деревни стоит большая светлая изба с огородом, а за ним зеленые луга, желтые полосы ржи, березовая роща. От рощи двигается воз сена, двое ребятишек копошатся на возу, а лошадь ведет под уздцы рослый, краснощекий Васька, сын Никиты, а рядом с ним, в красном сарафане, с граб-

лями на плечах идет такая же рослая и красивая мать Васьки.

Неделю назад, когда Никита сел на плоты, он видел только одну мать Васькину, старую, сердитую. Березовой рощицы давно уж нет, изба почернела, соломенная крыша до половины за зиму скормлена хромому бурке и комолой буренке.

Скучно теперь в избе! На лавке сидит старуха, прядет и думает: загулял мой запивоха!.. А допрежь весело в избе было. Особенно весной. Малыши на проталинке в бабки играют, Васька из города, из извоза приедет на праздник. А теперь одна старуха в избе. Ребяток нет. Маленьких съела деревня, большого – город. Махонькие померли: от горла один, потом другой от живота летом. А на что уж знахарка Марковна старалась отходить, и кирпичиком толченым с наговором поила, и маслицем от чудотворцев мазала – ничего не помогло.

Васька – этот в городе пропал. Сперва почетливый был, покорный. В легковых извозчиках ездил, домой рублей пятнадцать, а то и двадцать на праздники-то подавал, а потом запил, в острог угодил, а там и помер. Долго тогда Никита о Ваське плакал. О том плакал, что город Ваську съел. Жил бы в деревне себе, при земле, оженился бы, а захотел погулять-попить – на то праздник есть... Плоты опять... Нешто дело плоты? Ими сыт не будешь, плоты только хозяевам хлеб, а мужику разоренье одно... Мало кто домой привезет заработок с путины – все деньги в московских трактирах остаются. Разве бабы только да какой уж каменный му-

жик супротив соблазна устоит... А прежде все лучше было, народ построже был, да и хозяева не спаивали. Зачем на плоты мужик идет, коли они разоренье одно? – спрашивал себя Никита. – Зачем он сам, знает, что плоты разоренье, а сорок лет ходит? А затем, что издавна заведено было отцами да дедами на плотах ходить, так и тянет. Чуть весна – вся деревня на плоты, как праздника ждешь, натосковавшись за зиму-то. А тут хлеба нет, корму скотине не хватило, а хозяин-дровяник уже объезжает деревню и задатки раздает... Картины одна за другой пестрой панорамой проходили перед Никитой.

А по реке шли плоты один за другим и канатились у берега.

У одного плота порвалась бечева и стащила в воду бабу, другой пристал к чужому плоту, порвал канаты, и хозяин испорченного плота с рабочими избил до полусмерти неосторожного канатчика, а плот унесло дальше и посадило на мель. Около разбитого плота, как из воды, вынырнули десятки мальчишек на своих легких душегубках и переловили унесенные течением дрова...

Толпа золоторотцев из «Аржановской крепости» прошла мимо Никиты наниматься выгружать дрова.

Эта толпа резко отделялась от толпы плотовщиков. При взгляде на серые, похожие одна на другую мужицкие фигуры в рваных полушубках и понитках, в шапках с торчавшими ключьями кудели и с глубокими, добродушными, слезящимися глазами на серых лицах Никите вспоминались такие

же серые, однообразные, с клочками соломы на крышах, с глубокими слезящимися в прорезах соломенных завалинок окнами деревенские избы... Видно было что-то родственное между теми и другими, будто одни родили других.

Толпа оборванных, грязных, зловещих золоторотцев в остатках пальто, пиджаков, опорках напомнила Никите трущобы города, куда он как-то ходил разыскивать запутавшегося в них Ваську. Их мрачные земляные лица, их грязные облезлые фигуры напомнили Никите виденные им дома с разбитыми стеклами, с почерневшей, отвалившейся сырой штукатуркой, зловонные, шумные...

Толпа золоторотцев шла быстро... Впереди шагал с темно-бурым, лоснящимся лицом здоровяк в жилете из когда-то дорогого бархатного ковра, в форменной фуражке и опорках, привязанных веревками к оголенным по колено икрам. Остальная толпа с шумом шла за ним. За толпой, стараясь не отстать, торопился оборванец, высокий, худой, беловолосый, напоминавший всей фигурой тонконогий гриб, растущий в подвалах, и как раз сходство с этим грибом усиливала широкополая серая рваная шляпа.

Галденье толпы вывело Никиту из забытья, он осмотрелся кругом, встал и пошел в Дорогомиловский трактир за расчетом.

Дорогомилово гудело. По всей набережной, по лужам и грязи шлепали лаптями толпы сплавщиков, с котомками за плечами, пьяные. Двое стариков, обнявшись, возились в луже и, не обращая внимания на это видимое неудобство положения, обнимали друг друга за шею мокрыми грязными руками и целовались. Над самой водой, на откосе берега, раскинув крестом руки, лежал навзничь пожилой рыжий мужик в одной рубахе и в лаптях; пьяный плотовщик продавал еврею полушубок, против чего сильно восставала баба, со слезами на глазах умолявшая мужа не продавать шубы, и вместо ответа получала на каждое слово толчок наотмашь локтем в грудь и ответ: «Не встревай, дура! Ты кто?! А?» Мимо Никиты продребезжала пролетка с поднятым верхом, из-под которого виднелись лишь четыре ноги в лаптях и синих онучах, и одна из этих ног упиралась в спину извозчика.

Около трактира толпы народа становились гуще, плотовщики перемешивались с золоторотцами. Корявый, с топорным лицом городской разговаривал с барином в шляпе и, указывая на толпу, презрительно говорил:

– Нешто люди? Необразованность, деревня...

Никита шел и то и дело встречал знакомых, с каждым останавливался, говорил. При входе в трактир ему встретился едва державшийся на ногах канатчик Иван.

– Ваня, жив? – окликнул его Никита.

– Ванька нигде не пропадет! – ответил тот и со всего размаха распластался на мостовой.

В трактире с низкими закопченными сводами пахло прелым полушубком и сивухой. Все столы, стулья, скамьи были заняты включенными мужиками в рубахах, пол завален сумками, столы заставлены чайной посудой, бутылками; стоял такой гомон от сотен голосов, стуканья посуды и звона медяков, что отдельных голосов нельзя было разобрать. Направо от входа за столом толстый хозяин раскладывал бумажные рубли, покрытые медяками, на кучки и отодвигал каждую кучку к окружавшим стол плотовщикам.

Никита получил свою долю, и на столе появился чай, баранки и четверть вина...

Вечерело. Над рекой опустилась беловатая дымка тумана, заморосил мелкий, как из сита, скорее похожий на осенний дождь. Половые в белых рубахах, бесцеремонно расталкивая охмелевшие, кудлатые головы, опущенные бессильно на стол посреди зала, становились между этими головами на колена, чиркали серные спички о широкие спины плотовщиков и зажигали лампы. Спичка, случайно, а может быть из шалости брошенная половым, попала в рыжую курчавую голову, вспыхнуло несколько волосков, но обладатель головы провел по волосам заскоружлой рукой, потушил пожар и, как не его дело, продолжал спать.

Никита, согнувшийся, обрюзглый, с затуманенными гла-

зами, колотил кулаком по столу и ораторствовал:

– И ругается... Пущай ругается... Бить нас мало...

– А ежели порядок такой? – возражает ему его толстый хозяин.

– Бить... За порядок и бить... Сорок годов хожу на плотах, ты еще мальчонком эконьким бегал, а теперь и пузо отрастил и...

– Благодать господня...

– Нет, ты ногу покажи...

Хозяин выставил чищенный сапог в высокой калоше.

– А это что? А? Оттого ты и пузо отрастил, от жадности...

С того пятак, с того пятак – вот и пузо и нога... Нешто это нога хрестьянина... От жадности полтора сапога надето... – сказал Никита, указывая на сапоги с калошами.

– Кешка, брось! А ты выпей лучше...

Хозяин налил стакан.

– Отравы-то?.. Вот кабы не эта отравы-то, так где бы ты полтора сапога взял? Сорок годов на плотах хожу, чугулки не было, по Можайке мы хаживали еще, ассигнациями получали и домой носили... А потому отравы не было и полтора сапога не видали...

Никита выпил залпом стакан и понюхал кусок кренделя.

– Бить нас надо за отравы-то... Вот бабы – во у кого учиться... Сердешная калачика не купит, все домой несет, а отчего? Потому отравы не знает... Верно я говорю? – говорил Никита коснеющим языком.

– Верно.

Хозяин встал и пошел к буфету.

Никита выбросил на стол четыре рублевые бумажки и немного меди и крикнул:

– Вишь денег колько? Еще полуштоф – живо!

На стул, с которого встал хозяин, сел золоторотец.

– Друг, верно я говорю – бить надо.

– Верно, – соглашается тот, косясь на деньги.

– А коли верно, значит, выпьем...

– Угостите, коли милость будет...

– И угощу... Ежели я недели мокнул, ежели я свое дело справил, значит... Покажи ногу!

Золоторотец конфузливо выдвинул из-под стола рваный, грязный лапоть.

– Где полтора сапога... А? – Никита потянулся к ноге золоторотца, стараясь схватить ее руками, и упал под стол. Золоторотец бросил свою рваную шапку на стол, прикрыл ею рублевки, огляделся, взял шапку вместе с деньгами и исчез в дверь...

ВОЛЯ ПОКОЙНОГО

Федот Ильич не был человеком с характером, как это казалось его окружающим, – он просто обладал упорством несокрушимым.

– Что заладил, тому и быть!

А заладил он после смерти своей жены, что духовного завещания никогда составлять не будет и что все его состояние должно перейти только законному наследнику.

– Воля моя непреклонна! – любил он повторять в беседах с друзьями.

С единственным сыном у него были не то лады, а не то нелады. Сын, многосемейный работник, ушел после женитьбы от отца и вел свое небольшое дело.

Между отцом и сыном стояли капиталы первого, но все-таки они взаимно любили друг друга. Как-то, последние дни, отец даже был у сына в гостях на даче и говорил:

– Вот рай истинный! – И ласкал внучат.

Одинокó жил он, выдаясь изредка с двумя-тремя стариками, приятелями далекой юности, да окруженный разными бедными родственницами, а иногда проходимцами разных полетов, охотившимися за его капиталами, нажитыми упорным, честным трудом ремесленника и приумноженными старческой скупостью.

Но кремень был старик, деньги держал в бумагах, ни-

сколько не интересовался последним падением курса, а видел только одну наличность: резал купоны и приобретал на них новые и новые бумаги, да еще радовался, что рента стала дешевле, а купоны все то же стоят. О будущем не думал, наличность ощущал, по привычке экономил до скаредности и не понимал, что у человека могут быть иные потребности.

– Квартирка тепленькая, одежда-обува есть, на рюмочку хватает – чего еще?! Не биться, не колотиться и на поклон к людям не ходить!

Был у него в давние времена приятель – поп старый, его прихода, – да умер. Бессребреник поп!

А на его место поставили молодого, новой формации, обделистого, из ходовых, отца Евсея. Этот и попечительство, и церковные школы, обо всем старается и всеми способами. Так и мечется по приходу, особенно по богатеньким да по вдовам-старушкам.

Вечером ко вдове, утром ко владыке.

– Ваше преосвященство! Еще жертвовательницу боголюбивую нашел на благоустройство приюта вашего имени, дозвоьте вам представить.

– Отрадно, отрадно. Что же, веди!

А от владыки ко вдове едет, и под широкополой шляпой волосы встают в ожидании, что на них скоро камилавка залиловееет...

Долго он и за Федотом Ильичом неотступно ухаживал. Чувствует старик это приставание, а возразить не в силах,

будто загипнотизирован.

– Владыка вас, любезнейший Федот Ильич, самолично желает видеть, наслышан, что искра божья теплится у вас в груди, и заглушать ее не следует... Года-то ваши, года-то...

Потом вскидывал руки к небу и начинал описывать прелести рая.

– Сколь прекрасен рай-то, сколь он великолепен! Благо-растворение воздухов, блаженство праведных, плоды...

– А рябина растет там, в раю-то? – совершенно серьезно спросил его Федот Ильич как-то, и надолго прекратились разговоры о рае.

Засосал его поп! Чувствует старик, что сил нет избавиться от него, и даже уже не тем голосом начал повторять свое любимое:

– Моя воля непреклонна!..

А поп все пути в царство божье указывает, говорит о верблюде, который скорее пройдет в игольное ушко, чем богатый в царство небесное.

Федот Ильич даже нарочно ходил в зоологический сад посмотреть верблюда и попу об этом рассказал, а тот опять свое, и медаль на шею золотую примеривал, и о меню обеда у владыки рассказывал. Замучил старика.

Стал он пропадать из дома с утра, а вечером, если встретит его поп в переулке, прямо в трактир спасался, зная, что духовной особе туда идти не подобает.

Наконец извелся до того, что свой дом, насиженное гнез-

дышко, наскоро продал и на другой конец города из своего прихода переехал.

А поп на другой день поздравить с новосельем преподжаловал, пирог принес:

– Матушка испекла!

И рябиновки посудину из-под рясы вынул и на стол:

– Матушка настояла... два года для вас выдерживала! А там еще в запасе в чулане есть!..

Не устоял старик против любимой рябиновки! Сидят за графинчиком и беседуют.

– Семьдесят-то годков есть?

– Восемьдесят, батюшка, восемьдесят сегодня минуло!

– С днем рождения! Вот не знал, вот в какой счастливый день привел господь... Ну, помолимся...

И опять за рябиновку.

– Да, года большие... Все под богом ходим... А завещаньице-то есть?

– Зачем? У меня законный наследник есть... Сын...

– Так оно... Только нонешние, знаете, люди-то... О душе пещись надо... Рай-то, рай-то какой! Блаженство, плоды всякие, рябина-то во-о какая...

Старик сидел, клевал носом и шептал:

– Моя воля непреклонна... Рябина моя... я...

Каждый день то с пирожком, то с рыжичками...

Еще четверть принес...

Пришлось послать за доктором. Прописали лекарство, ди-

ету, ежедневную прогулку. В это время, отрезвившись, старик к сыну на дачу съездил денька на два. Приезжает домой, а письмо от попа на столе. Все о том же, да еще с прибавлением, что владыка хочет с ним познакомиться.

Не велел старик попа принимать, а он к нему с просвиркой пришел врасплах и черновичок духовного завещания набело переписанный принес.

Соловьем залетным пел ему священник; всю элоквенцию семинарскую в ход пустил, чокаясь стаканчиками до позднего вечера, и уговорил, наконец, на другой день к нотариусу...

А сам уж и домик подыскал для школы, и процент изрядный за продажу с домовладельца выговорил.

Проснулся старик рано, с головной болью, одышка, глаза не смотрят. Приказал подать парадный сюртук, часы надел золотые, что делал только в самые торжественные дни, и сел за чай.

Налил из стакана в блюдечко, долго дул, сделал глоток, да и встал из-за стола. Вынул из кармана черновик завещания, развернул его, опять положил в карман и крикнул кухарке:

– Дай-ка пальто! Ежели кто спрашивать будет, скажи, к нотариусу пошел.

– Ладно, батюшка Федот Ильич, стало-ть, к... как его?

– К нотари-у-су! – протянул старик.

– К мат... мат...

– Ну да, к мат... мат... молчи уж, скажи, что по делам ушел... Давай-ка новое пальто!

Оделся, стал застегиваться, да и закашлялся. Потом оправился, ощупал карман, посмотрел, тут ли бумага с завещанием, и начал надевать калоши.

Сапоги были новые, и калоши лезли плохо. Старался, кряхтел, топал, – наконец пришлось нагнуться, поправить калошу рукой. Нагнулся. Голова закружилась. В глазах потемнело.

* * *

У владельца дома для поминовений был обычай никогда не топить свои громадные палаты.

– Народом нагреется, ко второму блюду еще жарко будет! – говаривал он гостям.

– Да ведь ноги замерзли!

– А вы валеночки, валеночки надевайте... Эй, свицар, принеси-ка ихные калошки!..

И кто послушался хозяина, чувствовал себя прекрасно.

Еще за молчаливыми блинами со свежей икрой, вместе с постукиванием ножей о тарелки, слышался непрерывный топот, напоминавший, если закрыть глаза, не то бочарное заведение, не то конюшню с деревянным полом.

И наследник, поместившийся на почетном месте, против духовенства, усердно подливавший вино, изредка тоже при-топывал.

– Во благовремени и при такой низкой температуре оно

на пользу организму послужить должно! – басил, прикрякивая, протодиакон, отправляя чайный стакан водки в свой губастый, огромный рот. Он заметно раскраснелся и весело развязал язык. – А то давеча за закуской хозяин рюмочку с наперсток так наливает и говорит: «Отец протодиакон, пожалуйста с морозцу...» Это мне-то да наперсток!..

– Это верно-с, отец протодиакон, маловата для вас посуди́на одноногая.

– Конечно. Я и говорю ему: не протодиаконская эта посуди́на и не протодиакону из нее пить, а воробья причащать!.. Ну, и, конечно, стаканчик... Пожалуйста-ка сюда вон энту мадерцу.

– А вот покойный рябиновочку обожал... Помянем душу усопшего рябиновочкой... Отец Евсей, пожалуйста по единой! – предложил церковный староста, друг покойного.

– Нет, уж я вот кагорцу... Я не любитель этой настойки. Виноградное – оно легче... – И чокнулся с наследником. А потом потянулся через стол к нему, сделал руки рупором и зашептал: – Воля покойного была насчет постройки церковноприходской школы и приюта для церковнослужителей... Завещаньице уж было готово, и я избран душеприказчиком. Вы изволили ознакомиться с завещаньицем?

– Да, читал... Не угодно ли рябиновочки? Позвольте налить?

– Я кагорцу.

– А я вот рябиновочки. Она лучше, натуральнее, и притом

наша русская, отец Евсей.

– Не любитель я... Виноградное больше... У владыки всегда виноградное за трапезой, я и приобзык...

– А ведь рябиновочку тоже вы, Маланья кухарка мне сказывала, любили с отцом пить...

– Конечно, попивал, но так, для компании... а я виноградное.

– Вот лисабончику пожалуйста.

Когда обносили кисель, топот прекратился, резкое чоканье стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, изредка покрываемых раскатистым хохотом протодиакона, а отец Евсей под шумок старался овладеть вниманием наследника и сладко пел ему о пользе церковноприходских школ и святой обязанности неукоснительного исполнения воли покойного.

Прислушивался незаметно к этим речам церковный староста, и умный старик посматривал на наследника, которого еще ребенком на руках носил и с которым дружил и до последнего времени.

– Так как же-с, что изволите сказать на мои слова, Иван Федотович: благожелательно вам будет исполнить волю вашего батюшки?.. Конечно, можно за это через владыку удостоиться и почетного звания, и даже ордена...

«Тут не пообедаешь!» – улыбнулся про себя церковный староста.

– А вы бы рябиновочки, отец Евсей... Давайте-ка по рю-

мочке... Помянем отца!..

– Я бы хереску...

– Нет, уж сделайте одолжение, рябиновочки со мной выпьем.

– Ежели уж такова ваша воля, – наливайте!

Выпили.

И опять ладони рупором, и опять разговор. Отец Евсей раскраснелся от выпитого, глаза его горели, голос звучал требовательно.

Наследник молчал и крутил ус.

– Ну-с, так позвольте узнать решительный ответ: угодно вам исполнить волю...

Но он не договорил.

Задвигались стулья. Протодиакон провозглашал вечную память.

– Ве-е-ечная па-а-мять... Ве-е-еч-на-я па-а...

– Еще раз и последний беспокою вас, благоволите ответить, – нагнулся через стол отец Евсей.

– Извольте... Мы с моим покойным отцом относительно церковноприходских школ совершенно разных воззрений, и полученное мною по закону наследство я употреблю по своему усмотрению.

– Позвольте, – а воля покойного? Ведь ваш батюшка имел уже в кармане черновик духовного завещания и скончался, как вам известно, скоропостижно, надевая уже калоши, от разрыва сердца...

– Да... да... К сожалению, я знаю...

– И конечно, исполните волю вашего батюшки для успокоения его души?

– Я вам говорил уже, что на этот предмет я совершенно другого взгляда и на церковноприходские школы не дам ни копейки.

– То есть как же это?..

– Да так, ни ко-пей-ки! Считаю наш разговор оконченным. А теперь помолимся.

– Ве-ечная память... ве-ечная память... – гремело по зале.

Отец Евсей сверкнул глазами и, сделав молитвенное лицо, начал подтягивать протодиакону.

– Однако! – сорвалось у него на половине не допетой им ноты.

И еще раз повторил он:

– Однако!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Это было в излюбленной дачной местности близ столицы. Я приехал суток на двое пожить к моим хорошим знакомым, давно уже обитающим в этой прекрасной местности.

Семья состояла из пожилого чиновника, его жены, добродушной Анфисы Ивановны, двух сыновей, служивших на телеграфе, и трех дочерей, из которых старшая, Анна Васильевна, недавно овдовела, а остальные кончили гимназию и мечтали о «совместной работе, рука об руку с любимым человеком».

Все три были хороши собой, а лучше всех вдова, впрочем, довольно скучноватая, достаточно нервная и слишком уж преданная памяти мужа.

Я всех помнил еще детьми и прежде частенько бывал у них, живя в одном городе. Но последние годы моя жизнь сложилась так, что я редко заглядывал в северную столицу и редко видал симпатичную мне семью Раевых. Но я всегда и всюду помнил о них, в силу многих незабвенных минут, проведенных в дни самой первой юности в этой семье, и знал, что и они все интересуются мной, следя по газетам, где я и что я делаю.

Их дача стояла в густом липовом парке, шагах в тридцати от дороги, так что с террасы можно было видеть проезжающих, а с дороги – всю семью, обыкновенно заседавшую на

террасе.

Случай, о котором я говорю, был на второй день моего приезда. Вечер мы провели, катаясь на пруду, и все возвращались веселой гурьбой домой ужинать.

Старики тоже плелись сзади, поотстав от молодежи. Ночь была темная, и с трудом глаза различали белую полосу липовой аллеи, по которой мы шли. Направо, вдали, показался огонек нашей дачи.

Терраса ярко освещена, накрыт стол, освещенный большой висячей лампой.

Вдруг перед террасой мелькнула тень и обрисовалась на белой скатерти стола и стене. Какой-то человек вскочил, схватил что-то со стола и бросился бежать.

Шедшая со мной под руку вдова единственная из всего общества увидала это, прижалась ко мне и испуганно шепнула:

– Видели? Кто это?

– Идите и молчите, я узнаю!

И, вырвавшись от ее руки, я бросился в калитку сада, пересек дорогу, белевшую между деревьями, и настиг фигуру. Я рассмотрел человека высокого роста, в пиджаке, картузе и высоких сапогах. В тот момент, когда он, не видя меня, подбежал ко мне, я схватил его за грудь и прижал к забору:

– Стой, что украл?

Он совершенно растерялся, опустив руки.

Я чувствовал, как несчастный весь дрожит под моей ру-

кой. В это время остальные уже подошли и окружили нас.

– Вор! Вор! Вора поймали... – заговорили все.

– Что ты украл? – продолжал я допрос.

– Ради бога, извините, я проездом между поездами... Буфет закрыт. Вижу, стол на террасе накрыт... Стоят бутылки... Никого нет, а я с похмелья. Подбегаю, схватил бутылку и больше ничего. Ничего!.. Помилуйте, там серебро лежало. Я ремесленник, имел заработок. Наконец, есть деньги, билет. Вот бутылка. Простите, Христа ради!

Он вынул из бокового кармана бутылку красного вина и передал мне.

Я осмотрел карманы.

Ничего больше не оказалось.

– На, возьми бутылку и ступай! – сказал я ему.

Он повалился в ноги со слезами на глазах и стал благодарить, бормоча:

– Я – не вор... С похмелья только бутылку... Выпить захотелось.

– Так отпустить?! Покровительствовать ворами! В полицию! В стан! Эй, сторож, сторож! – закричали все в один голос.

Несмотря на то что все эти собравшиеся вокруг «преступника» люди сами по себе были людьми добрыми, способными проникнуться глубоким состраданием к мухе, которую душит паук, – теперь в голосе каждого из них слышалось какое-то озлобление. Все словно ослеплены были животной

боязнью за свой покой, за свою собственность и не хотели видеть жалкой фигуры пойманного, его приниженной заботности.

Несчастливого передали подоспевшим сторожам, которые и повели его. Я вышел на террасу. Сели за стол. Разговор не вязался. Дамы были на стороне вдовы. Только одна гимназистка, сестренка, перепуганная происшествием, мило смотрела на меня влажными глазами.

– И вы, Анна Васильевна, спокойно кушаете, отправив человека в полицию, отдав его ни за что под суд? – сорвалось у меня с языка.

– Значит, по-вашему, прощать воров?! Разводить этих разбойников, чтобы нас перерезали!

– Ничего подобного! Я вовсе не говорю о прощении воров и преступников; я говорю, что в данном случае человека несчастного не следует губить.

– Вы либеральничаете на чужой счет...

Я улыбнулся.

– Простите, именно на свой собственный. Едва ли кто-нибудь из вас всех бросился бы в темный парк ловить вора; ведь он мог быть вооружен. Я имел несчастье это сделать. Теперь раскаиваюсь. Вы меня, Анна Васильевна, хотели оскорбить, но я не оскорбился. Я сам раз в жизни в таком положении был. Позвольте рассказать?

Глаза всех обратились на меня.

– Пожалуй, рассказывайте, – лениво сказала Анна Васи-

льевна, но в глазах загорелось любопытство.

– Дело было так. Как вам известно, я был несколько лет рабочим и жил, как все рабочие-зимогоры. Что такое зимогоры? Самое слово показывает: зимой горюют. И действительно, летом работы для нас вдоволь, а зимой или на белильный завод идти себя отравлять, или сидеть в трактире впроголодь, раздетому, разутому, ждать одиннадцати часов, когда выгонят, иногда в тридцать градусов мороза, в одних опорках и рваном зипуне на голом теле. Хорошо, если есть пятак на ночлег, – заплатишь, ляжешь на грязный пол, вытянешься и уснешь. А утром опять в трактир, ждать, пока вечером выгонят. Иногда работа набегала – дрова выкладывать из вагонов, а великим постом лед на Волге колоть. Я раз провалился сквозь лед и пешню упустил. Насилу вытащили меня, а пешня так и пропала. Три дня отработал за нее. Ну вот и сижу я раз в трактире. Дело было после Рождества. На улице больше тридцати градусов, а на мне опорки на босу ногу. Вот и одиннадцать часов. Вытолкали нас. Холод, на ночлег денег нет, должен за неделю, и приходиться съемщик не велел. Товарищи ушли. Стою я один у дверей, дрожу, не знаю, куда идти. Трактир на углу переулка.

Вдруг мимо меня промчался человек с каким-то узлом и исчез во тьме, а вслед за ним городской и еще двое, которые сразу схватили меня с криками и повалили. Я ударился головой о камень и потерял сознание. Очнулся на полу в грязном квартале, рядом с пьяным человеком. Тускло горел ночник.

На столе лежал кусок хлеба. Голова болела, совершенно пустой желудок. Решетка не доходила до потолка, я перелез и взял хлеб и, стоя, с жадностью начал есть. Тут только и сообразил, что произошло со мной, как меня поймали, понял, что я благодаря ошибке могу пропасть, погибнуть. Я осмотрелся. Городовой на скамье и пьяный за решеткой удивительно в тон храпели.

Я приотворил дверь на улицу – храп продолжался. Я вышел, тихо затворив за собой дверь, и пошел по пустой улице.

Ударили к заутрене. Я вошел в слабо освещенную церковь и простоял до утра, молясь от всей души. Я был спасен, как оказалось потом, от каторги. В рыночном трактире только и было разговора о побеге арестанта из квартала, что арестант этот был пойман за ограбление женщины, которая на извозчике везла узел с платьем. Впоследствии, дня через два, весь трактир знал грабителя, беглого сибиряка, который пропивал деньги, вырученные от продажи на базаре двух женских шуб. Знали об этом все, кроме полиции.

Вскоре после этого случая я написал отцу, чтобы он мне выслал денег, и, получив сто рублей, оделся и уехал домой, бросив изучать трущобный мир, который чуть меня не погубил.

Едва я успел окончить свой рассказ, как послышались быстрые шаги в саду. Кто-то бежал к нам. Дамы испугались. К террасе подбежал сторож:

– Господин, помогите... выручите. Человек-то, которого

вы отправили, убег от нас и зубы мне разбил.

– Убежал... Не поймали?

– Нет, как есть убег!

– Ну, слава богу, – вырвалось у Анны Васильевны.

Сторожу дали на чай, пообещали не жаловаться, что он упустил арестанта.

Впоследствии другой сторож сознался, что сторожа отпустили пойманного, не находя его виновным и выпив вместе бутылку лафита.

– Уж и кислятина, чего только пьют господа. И воровать-то не стоило, – оправдывался перед дворником сторож.

ПРАВОЕ ДЕЛО

Великолепны Балканы! Чудно хороши их заоблачные выси! Верхом на малорослом горном коне, цепляющемся своими выработанными на кремнистых кручах копытами, молча поднимаешься вверх, созерцая чудные картины богатой горной природы...

Никто не мешает восторгаться поразительными видами даже в тот момент, когда, балансируя на узком карнизе отвесной кручи, чувствуешь одной ногой каменную скалу, к которой осторожно жметесь лошадь, а другая нога висит над черной бездонной пропастью, откуда едва-едва доносится прерывающийся шум каскадов горного потока.

А там, под тобой, громадный орел, сорвавшийся со скалы, кажет тебе свою бурую спину, могучие распластанные крылья и старается подняться...

Вот он пропал в кусочке облака и через него выплыл из белого тумана, могучий, величественный, сравнялся с тобой и пошел кверху, к небу...

А ты поднимаешься еще выше, прорезаешь облако, дрожа от сырости, и, наконец, облако под тобой.

Горизонт открылся. Там, внизу, чудная необъятная долина с разбросанными селами и садами, а с другой стороны — цепь гор.

Те самые горы, которые казались великанами, когда под-

нимался на них, теперь кажутся где-то далеко-далеко внизу, как и те долины, – только все будто изрыто, будто под тобой необъятная рельефная карта с белыми пятнами облаков, заснувших в ущельях.

И гонит ветер облака из ущелья в ущелье, прижимает их к отвесам, поднимает кверху...

И летят они, белые, дальше, дальше, до тех пор летят, пока не растают в горном воздухе под лучами солнца или не соберутся в грозную, темную тучу...

Хороши Балканы! Земной рай балканские долины! Они – вечная причина войн и раздоров. С незапамятных времен переходили они от народов к народам. Их виноградники и розы выращены на крови человеческой, на горах костей. И долго из-за этих красавиц еще будет литься кровь, до тех пор, пока любовь не победит злобы и зависти...

И теперь в очаровательной и многострадальной Македонии христианская кровь смешивается с кровью мусульманской...

Крест и полумесяц враждуют между собой... А рядом, на севере, в Болгарии, где любовь победила злобу мусульман, там счастье и свобода!

Северные богатыри спасли своих южных братьев, и южные македонцы ждут своих спасителей с севера, и рвутся северные братья на защиту своих соплеменников. Но еще время не пришло...

Пограничные горы, разделяющие счастье и несчастье,

свободу и рабство, строго охраняются...

И видят горные заоблачные орлы зоркими очами на своих излюбленных гранитных скалах вооруженных людей, и знают орлы, что им будет добыча.

Недаром стоят часовые... Недаром блестит оружие...

Петко сменил часового и остался один посредине горной дорожки, извивавшейся по ущелью. Он стоял как раз на высшей точке дорожки на границе: вниз, к северу, – Болгария, вниз, к югу, – Македония. Он стоял, опершись на дуло ружья обеими руками, и думал. Ночь была темная, тихая, каждый шорох слышен. Упал камешек сверху и запрыгал в пропасть. Часовой вздрогнул, но сразу успокоил себя. «Черепаша, должно быть, столкнула... или змея... А может быть, и скатился...»

И опять тишина.

Далеко-далеко внизу едва слышно журчал ручеек, и Петко к нему прислушивался, как к единственному живому звуку, и думал о своем доме.

Там, на севере, его родина... Милая, теплая долина роз. Что-то поделывает его жена Еленка? Прядет, должно быть... А дед, столетовский дружинник, рассказывает про былое. И сколько дед знал да видел! Еще маленький Петко заслушивался его рассказов... Бабушка всегда плакала, слушая его, а иногда и сама рассказывала. Говорила, как турки пришли к ним в хату, как убили ее мать, изрубили отца и голову его на кол перед окнами воткнули, а маленького братишку и сест-

ренку, которую она нянчила, в колодце утопили... «А там и не знаю, что было в эту ночь... Помню только, что утром нашла меня соседка в винограднике. Я долго-долго не могла поправиться... Вся избитая, измученная лежала в хате, а потом дед пришел, вернулся с резни с турками...»

И тут начал рассказывать дед, как он на Дунае был, как в Браце в Ботевской дружине дрался с турками, как его ранили и в плен взяли. Видел он в плену, как товарищей юнаков мучили, языки вырезывали, глаза выкалывали, уши отрубали, из кожи тела ремни выкраивали... Сотни раз видел он эти муки... И ему было бы то же, да случай спас.

Рассказывал дед, как он ушел.

– И между турками тоже хорошие люди были.

Давно, давно это было. Дед еще женат не был. Тогда тоже напали на деревню турки, но только их юнаки прогнали. А на другой день пошел дед в горы и слышит – кто-то стонет в пропасти. Спустился. Лежит молодой турок. На лице кровь запеклась. Один глаз вытек, а другой смотрит злобно.

– Убей меня скорей, гяур собака! – хрипит турок.

– Убить просит себя! – рассказывает дед. – Да жалко мне его стало. Тоже человек ведь, да еще от ран мучается. Может, у него отец, мать, а то и детки малые есть. И так-то мне его жаль стало. Лежит – не шевелится, на губах кровь запеклась, а сам ругается:

– Болгар собака!

Оружие на нем дорогое, одежда тоже. Ну, спустился я к

ручью, набрал воды в баклагу, подошел к раненому, напоил его и давай лицо отмывать. Ожил он. И глаз добрее смотрит. Слеза блеснула... А другой глаз не глядит – вытек весь...

Закурит дед и продолжает:

– Раздел я его. Изорвал свою рубаху, промыл и перевязал раны. Опасных не было. Только камни изорвали да оглушило падение. Успокоился мой турок.

– Алла ак бар, э-валла! – молится по-своему и благодарит. И всегда в это время у деда слеза блеснет.

– Пошел я наверх, позвал своих болгар, рассказал им всю историю. Взяли мы носилки и перенесли раненого в мою хату. Двадцать дней он пролежал у нас. Потом, когда совсем выздоровел, всех благодарил и ушел. Красивый такой, сильный, только глаза не было, да на лбу поперек шрам кровавый остался. И подарил он мне при прощании вот этот нож и ятаган.

– Ты спас Осман-Бея! – сказал, прощаясь, турок.

И дед всегда в это время показывал нож с серебряной отделкой. А ятаган у него в плену отняли.

– Так и пропал ятаганище! Ну да вот этот, другой, получше.

И рассказывал дальше:

– В плену, когда я поправился, повели и меня на казнь. Еще со мной было двое наших. Поставили среди войска. А командует войском турок в золоте и орденах. Подъехал он к нам и смотрит. На гнедом коне, высокий, стройный, правого

глаза нет, а на лбу шрам. Знакомое лицо. Смотрю на него да как крикну:

– Осман-Бей!

Посмотрел он мне в лицо своим одним глазом и приказал солдатам привести меня к себе, а сам повернул коня и поскакал. Привели меня к палатке, втолкнули в нее, а сами ушли.

Посреди палатки Осман-Бей стоит.

– Здравствуй, друг! Не забуду никогда, как ты спас меня! Помню я твою хату, твою семью, как ходили за мной, лечили меня. Много я за вашу ласку ко мне спас болгар от смерти...

Долго мы говорили.

А тем временем он приказал привести к палатке моих двух товарищей.

– Где мой ятаган? – спросил меня Осман-Бей.

– Твои отняли, когда в плен брали.

– Ну вот тебе другой! Этот получше будет. Береги его на память обо мне. А теперь бери своих товарищей и ступай домой. Аллах велик. Он велит платить добром за добро.

Обнял меня Осман-Бей, дал мне кошелек с золотом и велел проводить своей страже до границы.

И помнил Петко этот огромный ятаган с серебром и бирюзой. С этим ятаганом дед на Шипке у Столетова дрался, и сказал он, указывая на ятаган, отцу:

– Стоян! Это твой ятаган, а отдам тебе его, когда будет это надо.

По росту и по руке был отцу этот ятаган! Отец высокий,

сухой, мускулистый, ловкий и смелый, как тигр. Еще одного только такого человека знал Петко – это дядю из Македонии, которого раз в жизни видел и не забудет никогда: одно лицо, одна фигура с отцом, только еще сильнее и суровее.

Дядя еще после войны исчез из дома и жил то в Македонии, то в Софии; звали его Михалю.

Знает Петко, что оба еще почти детьми, и отец и дядя, дрались с турками и добывали, рискуя каждую минуту, воду для солдат на шипкинских позициях.

Матери у Петко не было – она умерла вскоре после его рождения.

Отец очень редко бывал дома. Воспитывали Петко дед и бабушка. Женился он два года назад, и год назад его взяли в солдаты.

Оставалось служить только восемь месяцев.

Он побывал уже на больших маневрах на Шипке, отстреливался с грозных заоблачных скал самого Орлиного гнезда, о котором столько слышал от своего деда.

Петко стрелял, окутанный холодными облаками, холостыми патронами, а воображал себя таким героем, как отец и дед его, отбивавшие здесь двадцать пять лет тому назад отчаянные атаки сулеймановских заклятников.

И в тот миг он, готовый идти на штурм, лезть под пули, в простоте души был уверен, что их сейчас поведут в Македонию – воевать с туркой, и был полон радужной мечты защищать своих братьев.

И не он один так думал.

По вечерам, после маневров, так думали и старики, а отец прямо говорил дружинникам:

– Пойти бы теперь постоять за несчастных братьев... А тут вот напрасно порох тратят... И все это политика да дипломатия...

И усачи-дружинники слушали его со сверкающими глазами.

Потом кончились маневры, и полк их прямо отправили на границу.

Не то что домой отпустили, повидать семью, а и с отцом проститься не пришлось! Ночью двинули и форсированным маршем через дикие горы повели. А за горами-то и есть эта самая Македония, о которой отец так часто говорил, особенно когда возвращался из своих долгих отлучек.

Где отец иногда проводил целые месяцы, никто не знал. А приходил всегда измученным, оборванным, но всегда приносил с собой дорогое турецкое оружие. А два года назад пришел больной – все рану на ноге перевязывал. С месяц хворал...

Так никто и не знал, где бывал отец. А к нему иногда ездили важные люди, ученые. Тогда всех выгоняли из хаты, оставался только один дед с ними. Про что говорили, тоже никто не знал. А когда уходили гости, и отец уходил с ними.

Бабушка плакала, а дедушка успокаивал ее, говоря:

– Правое дело Стоян делает, правое дело...

А какое правое дело, Петко так и не знал.

Дядю он только раз и видел. Весь в серебре да золоте приходил к ним, когда еще Петко маленьким был, а потом больше и не видались.

Раз только отец рассказывал – мастер был отец рассказывать, только редко разговорчив был... Рассказывал отец, вернувшись из долгой отлучки в прошлом году, как где-то с дядей ходил и натерпелся страху...

– Да, – говорил отец, – ничего никогда не боялся, а тут – старость, что ли, приходит, – кручи испугался. Боялся идти! Я, выросший на заоблачных скалах, перетрусил, как баба... Нас только было двое – я и дядя...

И помнил Петко весь рассказ отцовский почти что от слова до слова.

– Быстро мы шли. Горы становились все выше. Наконец и подъем. Перед нами бурая стена, верхняя часть которой обвита облаком.

Стена, облако и с обеих сторон узкого гребня, на который мы взошли, бездонные пропасти.

Дядя Михалю усилил еще шаг, махнул мне рукой, прося не отставать, и начал подниматься кверху, шагая и подпрыгивая с нечеловеческой быстротой с камня на камень.

Внизу, под нами, по той дороге, где шли, послышался топот лошадей.

То скакали, то ехали рысью. Оглянулся я на ходу вниз и увидел вдали всадника на вороной лошади. На нем был надет

башлык, и за плечами блеснуло дуло ружья...

А дядя лез. Камни и земля из-под ног сыпались на меня, попадали под ноги.

Он поднимался вверх, как кошка, все усиливая шаги, и не оглядывался. Только кое-где махал мне рукой.

Чувствую, что задыхаюсь. Ноги отказываются служить, особенно болит правая, раненая.

А дядя все шагает, все лезет.

Вот уже обрывки облаков белеют над нами. Белые кусочки дыма затягивают ущелья... Гора отсырела... Нога скользит. Сердце колотится усиленно... Чувствую, что вишу над пропастью, и боюсь в нее взглянуть, а глаза невольно опускаются вниз.

Впереди голая скала стены, на верху которой шагает дядя.

«Нет, не могу дальше! Брошу дядю... Ночую где-нибудь внизу, а на другой день пойду долинами. И зачем – думаю, – я пошел за ним? Зачем?» А Михалю уже вверху, скрывается в облаках... Его быстро убегающая фигура белеет в тумане, все гуще окутываясь им. А внизу – там смерть...

Повис над пропастью, прижавшись правым боком к скале, и чувствую, в первый раз в жизни чувствую, что тянет в бездну, в эту черную, бездонную, зияющую пропасть.

Молчаливая, мертвая, темная могила.

Тянет против желания, но тянет неудержимо.

Страшная усталость, дышать нечем, тошнит... В этом вишем положении дальше быть невозможно. Не хватает сил

ухватиться за торчащий каменный выступ и через него пробраться на узкий желтый карнизик-тропку, образовавшийся в скале.

А дядя Михалю бегом пробежал по этой полуаршинной дорожке.

– Э-эй, сюда! – слышится из-за облаков его голос.

Открыл запекшиеся губы, хотел крикнуть ему в ответ, а звуков нет...

И в то же время слышится топот копыт внизу и резкий голос:

– Собака гяур!

И грохот выстрела, и свист пули над головой, и воеет эта пуля дальше в облаках. Эхо ущелья повторяет десятки раз грохот выстрела. Будто горы рушатся!

Опять новый выстрел, другой, третий... Ущелье грохочет, и одна пуля тычется в землю у самого лица, рикошетирует и свистит в облаках...

– Эге-гей! – весело кричит в облаках дядя.

– Эге-гей! – кричу я в ответ и, забыв все, и усталость, и зияющую бездну, смело прыгаю на каменный уступ, момент балансирую на нем и вишу половиной тела над пропастью и снова шагаю по козьей тропинке, конец которой скрывается в облаках. Еще несколько шагов – и облако скрыло черноту бездны, а холод, сырой холод заставляет дрожать вспотевшее во время бега тело...

А дядя сидит на выступе скалы, свесивши в пропасть ноги

в знак полного к ней презрения, и заряжает винтовку. Я сел рядом с ним... Кругом свистели пули и грохотали выстрелы...

Петко теперь тоже стоял на краю пропасти, но ему уже не было страшно. Он больше боялся дороги, по которой могли идти люди, а он должен был не пропускать их.

Он помнил приказание капитана. А капитан сердитый. Все, даже офицеры, не любят его еще за то, что он учился и жил в Вене, воспитывался на немецкий манер и хоть носил имя болгарское, а болгар и за людей не считал.

А наказ он давал такой:

– Ни туда, ни сюда – никого не пропускать, кто бы ни шел. Гнать назад или представлять ко мне, а не будут слушаться, – стрелять в ослушников.

А вчера на этом же самом месте из Македонии шли беглецы – старик и женщина с двумя детьми... Оборванные, голодные... Они жаловались, что их селение сожгли турки, всех жителей перерезали и только они успели скрыться в лесу, избежали смерти и пробирались к нам, в Болгарию. Часовой пожалел и пропустил их. А капитан увидел, приказал сменить часового и бросить в подземную тюрьму, которую нарочно приказал вырыть. Говорят, часового расстреляют завтра... Семью беглецов переловили, и капитан прогнал их назад... Как плакали, несчастные!.. Офицеры просили капитана пропустить, но он был неумолим и закричал на офицеров...

Несчастные ушли в слезах обратно.

«Если сейчас они вернуться, что делать?» – задал себе вопрос Петко и вспомнил рассказы бабушки о турецких зверствах. И решил, что пропустил бы несчастных, а там пусть расстреливают. Женщин и детей с македонской стороны пропустил бы: от смерти и муки бегут. А вот с своей стороны мужчин, особенно же вооруженных, не пустил бы. И если бы стали идти насильно, выстрелил бы в них, потому, куда не приказано, не ходи, на то дисциплина!

А почему не приказано, он не знал. Стало быть, начальство про то знает...

«Политика... дипломатия, – блеснули в памяти слова отца. – Да еще дисциплина». И думал он: «Какие такие эти политика и дипломатия, которые придумали дисциплину, чтобы за своих родных не позволять заступиться, а турки пусть неповинных людей режут?»

И решил: «Швабы придумали это».

Он напрягал весь свой ум, чтобы разобраться в этих вопросах.

«Отца бы спросить, он ученый, все знает. А этих несчастных я пропустил бы».

– Приказано не пускать.

– А не пустить – турки их замучают.

– Приказано – значит, нельзя.

– А дети малые за что погибают? Чем младенцы виноваты?

– Приказано – нельзя! Приказано – не рассуждать!

– А если несчастные не послушают, пойдут спасать свою жизнь, – приказано стрелять... убивать? И это приказал начальник, капитан, и я должен слушаться, потому – дисциплина.

Политика... дипломатия... дисциплина... Вот оно все откуда! Недаром отец не любил этих слов.

Турки вот тоже убивают... Им тоже приказано... Им муллы приказывают, сам слышал: «Чем больше убьешь гяуров, тем блаженнее в раю Магомета будешь... Аллах велит гяуров бить...»

И сам же говорит: «Аллах создал всех людей...» Создал и велит бить свое создание...

– Муллы велят, творя его волю: и бить и мучить.

– А мой дед и отец били турок за то, что они мучили наших. А командир приказывает убивать наших, которые переходят границу. Оттуда идут – от смерти спастись. Туда идут – спастись от смерти братьев, драться с турками за них.

Когда дед и отец дрались с турками, им дали кресты и медали. У дедушки – комитская медаль. Отец ее целовал – вот какая медаль! А получил ее дедушка за то, что еще до войны с турками дрался, когда сам комитом был... А теперь в комитов стрелять велят...

Ум Петко положительно разметался...

Вдали на юге показалось зарево.

«Турки палят», – подумал Петко и долго смотрел на за-

рево, пока оно не погасло. Потом он смотрел на звездное синее-синее небо и слушал внизу отдаленное журчанье ручья...

Холодно было. Ближе утро. Можно уже слегка различать предметы... Небо белеет, и звезды меркнут и сливаются с небом. Только одна утренняя звезда поразительно ярко блестит и как-то в один миг делается совсем маленькой и блестит еще ярче. Вдали к юго-востоку облака начали краснеть, переходя вверху сначала в темно-багровый, а потом в свинцовый цвет, и, наконец, слились с небом.

Все меньше и меньше утренняя звезда. Она как-то прячется. Будто стыдно ей... Будто стыдно и облакам за эту ночь, стыдно, что они скрывали от неба то, что творится там, за горами, где сейчас было зарево, красивое, как кровь невинных, пропитавшая там землю.

И покраснели облака, чувствуя издали появление солнца, которое все увидит и в наказание растопит облака.

А звезда, молчаливая звезда, чувствуя приближение солнца, побледнела...

А луны в эту ночь не было. Ее умирающий серп показался над горами и бессильно спрятался...

Кругом белело.

Вдруг из-за хребта вырвался и блеснул солнечный луч, сначала один, а потом целый золотой сноп, и заиграл на порозовевших вершинах и сразу засеребрил и зазолотил их до самого темного подножия, черневшего там, глубоко, под ча-

СОВЫМ.

Потянул по ущелью свежий ветерок... Сразу, быстро поднялось солнце, и засиял бриллиантами весь хребет с цепью вершин самых причудливых форм... Сразу ожили горы.

Снизу послышались шаги... Петко обернулся к северу и стал прислушиваться...

А ветер, рвавшийся вдоль ущелья, с силой урагана свистал в расщелинах и шелестел деревьями... Шаги все слышнее. Петко волновался и осмотрел винтовку...

Все, что передумал он ночью, опять с быстротой молнии промелькнуло в голове...

– Кто же это? С нашей стороны... Комиты, должно быть...

И вдруг из-за каменной скалы, на узкой тропинке, еще окутанной облаком, заснувшим в ущелье, появились одна за другой человеческие фигуры... Сквозь туман облака трудно было рассмотреть их.

– Стой, кто иде? – торопливо окликнул Петко.

– Свой! – получился энергичный ответ.

Голос показался часовому знакомым.

– Вернись назад!

Молчат. Идут.

Он рассмотрел вооруженных людей.

– Ште стреляя! – кричит Петко.

– Б'лгарин си? – спросил Петка тот же энергичный голос.

– Б'лгарин сме!

– А если болгарин, так знай, что идут свои комиты, борцы

за свободу наших братьев...

По тропинке один за другим шло много людей. Впереди шел, весь в золоте и оружии, высокий усачь-македонец. С ним рядом шел...

– Отец! Дядя Михалю!.. – крикнул часовой и остолбенел.

– Петко, здравствуй! – в один голос крикнули дядя и отец; последний подошел и поцеловал его.

– Ну вот и хорошо, что ты здесь: еще комита у нас есть! – сказал дядя, стискивая руку Петка.

Петко стоял и ничего не понимал...

– Стой... Нельзя идти... Дисциплина... Стрелять буду, – бормотал он, как во сне.

Дядя тем временем взял у него ружье, схватил его под руку и повлек за собой по тропинке, по той самой тропинке, по которой вчера пришли старик и женщина с детьми...

Петко ничего не сознавал и не понимал, что ему говорили отец и дядя.

На отце он увидел дорогой дедушкин ятаган, и на сердце у него стало хорошо: он верил отцу и дяде и только теперь понял, что он идет на правое дело – спасти братьев.

В ВИХРЕ

(Из воспоминаний репортера)

Вот уже второй день, как я мирно лежу в сторожке лесника, а все чувствую, что мчусь на этом чудовище, вокруг которого бессильно воет разрезаемый им ветер.

Стоит закрыть глаза – и сквозь шум векового бора мне ясно слышится грохот орудий, взрывы, трескотня винтовок и громыханье этого громады-паровоза, предназначенного для поездов-молний и так лихо вынесшего меня от верной смерти.

Сейчас, лежа на лавке, я ощущаю, как он мечется, прыгает и клокочет подо мною, как визжат рельсы, как громыхают стрелки.

Нас было трое: я, машинист и кочегар с завязанной красным кумачом головой; ему пуля пробила ухо, и он, сорвав с трубы флаг, перевязал им рану.

Войска уже ворвались в окутанную дымом станцию, а товарищи, отстреливаясь, отступали к лесу. Некоторые падали на снег, сраженные пулями. Я остался на путях и нырлял под вагонами, пока не очутился перед начавшим двигаться паровозом.

– Садись! – крикнул мне машинист, помогая влезть на высокую подножку.

Загремел по стрелкам паровоз, заревел свисток, совершенно некстати данный в этот раз привычной рукой, и покрыл грохот выстрелов.

Нас заметили; застучали пули по железу и, визжа, гулко прорезывали трубу. Стоны, крики, выстрелы еще были слышны минуту...

Ужасы ада оставались позади, дальше и дальше с каждой секундой.

Мы бешено неслись, не думая о том, свободен ли путь. Сзади нас была полная безнадежность, и мы уходили от смерти, от пуль, может быть, на вернейшую гибель от крушения. Но впереди все-таки жизнь и воля! Да об этом и не думалось...

Бешено кружились деревья леса, неуловимо мелькали телеграфные столбы, будки... Вот совершенно пустой полустанок... Опять лес, опять поля, будки... Машинист то и дело высовывает голову и дает свистки. Мы пролетаем станцию... Толпа восторженно приветствует нас и машет папахами и красным флагом... На следующей станции стояли солдаты с удивленными лицами и метался офицер.

Потом, когда мы были уже далеко, свистнули вслед нам пули. Одна разбила стекло и визгнула по перилу.

– Дьяволы! – прошипел машинист и дал тревожный свисток – оглушительно захохотал паровоз в ответ на выстрелы.

Мы неслись с быстротой невероятной; регулятор открыт
вовсю. Летим! Машинист, этот равнодушный к жизни и
смерти человек, горел жизнью. Лицо его жило каждым му-
скулом. Глаза сверкали. Мы неслись под уклон, и под нами
визжали рельсы, сыпались искры... В подъем паровоз стал
останавливаться.

Впереди высились фабричные трубы.

Машинист поцеловал паровоз, смахнув слезу, спрыгнул
на полотно и снял шапку.

– Прощай, товарищ!

Мы пошли в лес. Было тихо-тихо в лесу... только снег хру-
стел под ногами. С веток сыпался иней...

ПЕСНЯ

*Жил-был на свете
Добрый человек.
Песня лирника*

Неоглядна степь. Конца-краю нет.

И гладка, и ровна, и, как блюдо зеленое, круглая...

Только кой-где по ней могилки степные высятся.

Да шлях прямой и широкий полосой витиеватой прорезал ее.

И около шляха могила стоит.

Как выточенная, ровная да круглая, вся в зелени яркой.

И сидит у могилки старичок слепенький и поет заунывно тихим голосом:

Жил-был на свете
До-брый человек...

А сам незрячими глазами в небо смотрит. И такая благодать по лицу его разливается, будто он в небе невидимом светлый рай созерцает...

И кто бы ни шел, ни ехал шляхом утоптаным, всяк у старичка остановится, всяк песню его заунывную послушает и с собой ее унесет...

Купец ли проезжий, калмык ли широколицый, богомолка ли, что киевским угодникам грех свой с макову росинку несет, утешенья в жизни беспросветной ищет, солдат ли беглый, немец ли колонист, барин ли на четверне – все у могилки остановятся. Кто серебрушку, кто медяшку, кто хлебца кусочек старичку положит...

А старичок и сам с бездомовым бродяжкой голодным поделится и ему, на весь мир обозленному, в небо глядячи, свою песенку споет:

Жил-был на свете
До-брый человек...

И пойдет бродяжка, удал добрый молодец придорожный, и старичкову песню мурлыкает...

И поднимется в ночь туманную рука его, привычная на дело недоброе, и сверкнет в ней нож, кровью ржавленный, – а в памяти-то шлях широкий, старичок у могилки слепенький...

И опустится рука его нещадная, куда нож полетит, кровью ржавленный, из дрожащих губ песня просится:

Жил-был на свете
До-брый человек...

И уйдет он от зла, успокоенный песней старческой заунывною...

А в ночь темную лучами ясными от могилки свет разно-
сится...

В степи могил – конца-краю нет.

И в могилах тех победители.

Все вожди лежат знаменитые, все в доспехах златокова-
ных...

Шли с Востока орды дикие... Табуны коней несметные...
Где пройдут они, – там былинки нет; где раскинут стан, – там
гора стоит... Как умрет их вождь, – яму выроют... Дно ее
уложат камнями, а на камни те и вождя кладут, с ним оружие
и добычу всю – груды золота...

И везут-несут землю с камнями, до тех пор несут, пока
вырастет над покойником гора круглая...

Чтоб потомки знали-видели, сколь велик герой под хол-
мом лежит...

А потомки-то – как прошли века – холмы срезали, кости
вырыли и оружие вместе с золотом в даль безвестную из мо-
гил несут...

И пришла пора, степь распахана, на могилах тех скирды
выросли...

А у шляха могилка все цела стоит...

Все поет слепец песню старую:

Жил-был на свете
До-брый человек...

И хранит та песня могилку придорожную.

И никто ее не коснется, никто в ее нутро не заглянет.

Да и взять-то что с человека доброго! Ни оружия нет старинного, нет ни золота раздобытого.

И стоит себе могилка целехонька...

Да и кто погребен в ней – неведомо.

Да и был ли кто там? Ну, не все ли равно?!

Ведь уж где-нибудь да когда-нибудь ведь уж жил такой, про кого поют!

А где жил он, где помер, где кости его, – что и спрашивать!

А что был он такой – это ведомо.

И костей его нет – слава носится...

Над могилкой степной зорькой светится...

Тихой песенкой заунывною в вышине плывет к небу си-
нему...

И поет слепец, в небо глядячи, – значит, видит он, где той
песни путь.

И звучит она по земле кругом. Все, кто слышал на степи
ее, в города несут, в села дальние и поют ее в дни тяжелые,
в дни счастливые...

А слепец сидит, в небо глядячи, и народ к нему все идет,
идет, и для всех слепец все одно поет над могилкою:

Жил-был на свете

До-брый человек...

ВАНЯ КУЗНЕЦ

– Ваня Кузнец в добровольцы просится, – доложил становойму письмоводитель.

– Ну и прекрасно, отправить его к воинскому начальнику. Я вдвойне рад – первое потому, что избавлюсь от скандалиста и пьяницы, а второе потому, что он, наверно, с десятков врагов передушит голыми руками.

– Да он уже второй месяц не пьет. Как водку запретили, другим человеком стал.

– Где он?

– В канцелярии.

Становой из отставных офицеров, полный и добродушный, вышел в канцелярию. У двери стоял весь в саже красавец юноша. Сквозь разорванный рукав рубахи сквозили великолепно отделанные мускулы.

– На войну, Ваня? Что ж, доброе дело. А это помнишь? – улыбнулся становой, указывая на дверь с решеткой.

– Было, да прошло. Это мой праздничный номер. Связанный валялся тут на полу.

– Не покоен ты был во хмелю.

– Быльем поросло. Как проклятую запретили, – век бы ее не было, – человеком стал. Пожалуйте мне свидетельство для воинского начальника.

– Ступай с богом. Федор Федорович, напишите ему самое

лучшее свидетельство. А ты, Ваня, иди ко мне, я тебя хоть стойке да поворотам выучу, объясню, как начальству отвечать, – сразу солдатом будешь.

Старый капитан увел Кузнеца в сад и преподал ему военную выpravку. На другой день Иван был уж у воинского начальника, а через два месяца на передовых позициях в одном из славных полков, куда он попал совершенно случайно, понадобился кузнец, а он тут и подвернулся. В первом сражении ему посчастливилось отбить у немцев раненного во время атаки полковника, которого он и принес на руках к своим, за что и получил Георгиевский крест.

* * *

Наши войска отступали перед сильным напором врага. Последний полк арьергарда с саперами и казаками должен был разрушить мост на пути наступления неприятеля.

Полк охранял саперов, минировавших каждый устой огромного моста, а казачьи разъезды рыскали на неприятельской стороне и не допускали к мосту разведчиков врага, который двигался огромной массой с тяжелой артиллерией.

Во время саперной работы прапорщик, ротный командир, доложил командиру полка:

– Господин полковник, унтер-офицер Федоров предлагает...

– Какой Федоров? Который спас меня?

– Так точно. Он предлагает интересную вещь, а именно: взорвать минированный мост тогда, когда через него пойдет неприятельская артиллерия.

– Это нелепость. Вы подумайте; сначала пойдут разведчики, потом кавалерия, затем пехота и артиллерия. Кто же будет взрывать? Мы отойдем, а если и решится на это какой-нибудь смельчак, так его разьезды найдут ранее, чем он это сделает.

– У него очень смелый план. Благоволите его выслушать. Призвали Федорова.

– Извольте видеть, ваше высокоблагородие, вот этот глиняный обрыв берега, вот на нем все дыры, это гнезда стрижей. Они-то меня и надоумили. С обрыва весь мост как на ладони... Я бы думал так: мост минирован, а взорвать его, когда по нем пойдет войско и, главное, орудия. Для этого провода от мин провести под землей к обрыву, а оттуда и взорвать врага.

– Кто же взорвет?

– Я, ваше высокоблагородие.

– Каким образом?

– Это можно наверняка. Сверху этого обрыва выкопайте землянку, чтобы одному человеку залечь в ней, проведите к ней – ведь всего сто шагов от моста – концы проводов, заройте меня в эту землянку, сверху заровняйте землю, чтобы и следов не было, а между стрижиными гнездами сделайте из землянки такую же дырку, в которую я и дышать буду и

наблюдать за мостом. Как он с артиллерией пойдет, так я и взорву, и конец ему.

– Да ведь и тебе тоже. Ведь это значит тебя заживо похоронить.

– Точно так. Меня закопаете одного, а я уж, должно быть, побольше...

Полковник задумался.

* * *

Становой справлял свои именины. В числе гостей был воинский начальник, священник и прапорщик с двумя Георгиями – серебряным 4-й степени и золотым с бантом 1-й степени.

Он был герой дня и украшение скромного праздника.

В окна заглядывали обыватели и шептались:

– Ишь, Ваня-то Кузнец наш чего добился... С полковником и батюшкой рядышком...

– Ай да Ваня!.. И матери своей сорок рублей вечную пенсию выслужил... А кто думал?

– А всего полгода и на войне пробыл.

За чаем прапорщик рассказывал откровенно и просто о том, за что ему дали офицерские погоны и золотой крестик.

– Приладили все ловко. Могилу саперы вырыли хоть куда. Сверху и с боков досками и брусьями обложили, кровать на козлах поставили – хошь сиди, хошь лежи. Прямо от изголо-

вья провели четыре толстых газовых трубы – в две дышать, в две глядеть. Весь мост на виду мне, а им только видны стрижиные гнезда и ничего больше. Ни за что не догадаешься, потому что из этих гнезд будто снаружи на них глаза человеческие глядят. Сверху, должно быть, тоже так заровняли надо мной землю, что и не узнаешь...

Приготовили мне землянку эту, поставили воды, хлеба и стали со мной прощаться... Полковник, ротный, офицеры... все прощались, много хорошего говорили, чуть до слез не довели. Батюшка пришел, исповедал и приобщил... Ну, просто хоронили как будто покойника...

Пришло время лезть. Поклонился всем, перекрестился и полез. Потом лесенку убрали, а я лег на кровать – лицом книзу, чтобы не смущаться, и только крикнул: «Закрывай, ребята, скорей! Неприятель совсем близко».

Э-эх! Жутко стало. А молчу... Застучали доски. Скоро-скоро саперы закрыли... Потом покрыли шинелью, чтобы земля не сыпалась сквозь щели. Сразу темно стало. Я поднял голову, а передо мной четыре дыры и сквозь них и мост, и река, и дорога видны. Как застучала земля по доскам! Да ведь так гремела, будто из пушек палят... Все тише... тише... Все страшнее мне становится... и вспомнил я первым делом кутузу... Проснешься, бывало, ночью, темь кругом, пить захочется. Кости от побоев болят, да еще руки связаны... И думаю: хуже бывало. Тут хоть дело могу большое сделать, а там за что мучился? За вину. И сразу повеселел... А сверху

гремит все... Только глуше... А потом смолкло. Ушли, значит... Смотрю я на мост – никого. Тихо. Дышать немного тяжело – сырой землей пахнет... И захотелось мне спать... Вот как захотелось... Я лег, а дышать нечем. И ко сну клонит... И зачем это я согласился на такое дело? Каюсь, значит... А глаза закрываются. Думаю, впрочем: засну – не проснусь. Я опять подышал в трубу. Да сразу и ожил. Из-за моста скачет взвод казаков... Вот как несутся. И по мосту во весь мах... Ну, думаю, значит, враг близко. Проскакали казаки, а так минут через десять неприятельская кавалерия. Проскакали и остановились у моста. С коней послезали и четверых отправили к мосту. А провода у меня и справа и слева. Только соедини – и мост взорван. Мучило меня только одно: вдруг неприятель раздумает идти по мосту, пропал я, мальй, зря... Потом еще четверо сели на коней и поехали по мосту... Те стоят по ту сторону реки. Потом стучат по мосту, и все восьмеро разведчиков вернулись. Весь эскадрон сел на коней и поехали шагом по мосту, а трое отделились и поскакали назад.

Стихло все. Опять никого. Потом вижу пыль за мостом... Кавалерийский полк идет. За ним полк пехоты и там артиллерия, и еще пехота, и еще артиллерия... А у меня грудь спирает, никак в трубу вполне надышаться не могу... В виски кровь колотит... Загремела по мосту кавалерия. Двинулась пехота... А мост сажень семьдесят, широкий... Идут отделениями... Заполнили мост. Так меня и тянет провода соеди-

нить... Больше ни о чем и не думаю... Жду все-таки... Двинулись орудия... Два посередине моста, а два въезжают... Торопятся... Мост тесно набит народом. Руки у меня дрожат, зубы стучат, задыхаюсь. Ну, думаю, пора, а то еще задохнусь, зря заряд пропадет. Отодвинулся от трубы, поднял к свету провода и соединил их... Как шандарахнет! Будто вся земля взорвалась... Чем-то меня ударило, и я куда-то полетел...

С бледными лицами, боясь дохнуть, слушали все рассказ Кузнеца.

Он смолк.

– Ну а как же вы спаслись? – наконец осторожно и тихо спросил воинский начальник.

– Ничего не знаю. Очнулся я в госпитале. Сестра милосердия передо мной... Я открыл глаза и ничего не говорю и ничего не понимаю. Все думаю: а где же труба? Ищу, чтобы подышать... Потом уж начал приходить в себя... Прибежали доктора... Потом генералы пришли... Все чужие – своих из полка никого... На другой день сам командующий армией пришел, поздравил меня прапорщиком, надел золотой крест и сказал:

«Молодец Федоров, твоя заслуга великая никогда не забудется».

И приказал отпустить меня на месяц домой и сто рублей подарил на дорогу.

– А как же все-таки вы спаслись?

– Ничего не знаю. Доктор и сестра говорили, что меня за-

мертво привезли с позиции, сказали, что я взорвал неприятельское войско, и приказали меня вылечить. Да сказали, что я был зарыт в землю и взрывом выбросило меня из земли... Как это случилось – не знаю. Должно быть, и берег отвалило взрывом... И стрижиные гнезда все пропали.

СУСЛИК

Я возвращался из поездки по табунам и зимовникам Задонских степей, но, имея свободное время, решил прокатиться по Волге от Царицына до Саратова, а там уж по железной дороге – в Москву.

Мой друг, Гаврило Яковлевич Политковский, управляющий конским пунктом в Великокняжеской станице, у которого я провел суток двое, наградил меня, по донскому обычаю, корзиной съестного на дорогу, что и составляло весь мой багаж, если не считать пальто в ремнях, где завернут был маленький саквояжик и портфель.

От Великокняжеской до Царицына я почти не уснул от страшной духоты и жары в крошечном купе тряского и дребезжавшего вагона.

В шесть часов утра я был уже на Волге, на Самолетской пристани. Ожидался первый пароход снизу в двенадцать часов дня, как сказано в расписании, висевшем на совершенно пустой пристани, где единственный сторож-матрос подметал пол.

Одет я был, как всегда в моих поездках по степям, в ту-журку, высокие козловые сапоги и форменную фуражку с черным бархатным околышем. Высокие сапоги необходимы для объезда верхом конских табунов, а форменная фуражка для почета, особенно среди полудиких калмыков, боявших-

ся всякого начальства и ни в грош не ставивших человека в неформенной одежде, как бы шикарен ни был его костюм. Это я испытал на себе, когда в первый раз явился в табуны в штатском пальто и шляпе. Разговаривать не хотят! Политковский тогда мне посоветовал непременно обзавестись формой, особенно фуражкой.

Я в это время редактировал спортивный журнал и состоял корреспондентом Государственного коннозаводства, что давало мне право носить коннозаводскую форму, чем я и воспользовался для моих степных поездок.

Форменная фуражка подействовала и на сторожа на пристани, когда я его спросил:

– А раньше не будет снизу парохода?

– Никак нет... Наш придет первым.

– Опоздает еще, может быть?

– Нет, сегодня почтовый, может, и не опоздает.

И предложил мне занять комнату на корме пристани, для классных пассажиров. Вынув из кармана ключ, взял мои вещи и отнес их в казенку, где был стол, стулья и большой деревянный диван.

Я ему – полтинник, а потом запер дверь и отдаю ему ключ:

– Пока погуляю, зайду в трактир, выпью чаю...

– Ключик возьмите с собой, часов до одиннадцати никого не будет... А насчет чаю, ежели что, так у меня и чайник и посуда здесь почище, чем в трактире.

– Ладно, погуляю и приду чай пить, а потом спать.

Около нашей пристани было пусто, а у соседних шла обычная погрузочная суета...

Я пошел на берег и почти у самых сходней заметил одинокого старичка в сермяге и в лаптях, который сидел на бревне и колотил об якорь воблу. Рядом с ним лежал картуз, из которого торчала краюха хлеба.

Удивительно знакомым показалось загорелое дочерна лицо его... Эта косматая впроседь голова и особенно огромные брови, как-то с краев загнутые вверх, изменили мой маршрут; я узнал его. Да, это он! Он – и никто больше!

Вспомнилось мне далекое прошлое, грозные дни юности, о которых я совершенно позабыл, – настолько они рознились с настоящим, насколько моя темно-синяя тужурка и щегольские сапоги рознились от сермяги и лаптей старика.

И вспомнилось мне то время, когда наши костюмы были одинаковы. Это не значит, что у старика была тужурка и форменная фуражка, а значит, что я был одет тогда в такую же, как и у него, сермягу и в такие же, как у него, лапти или опорки на босу ногу. Вспомнилась мне бурлацкая ватага на Волге в холерный 1871 год, где от товарищей по лямке я услышал впервые о знаменитом разбойничьем атамане Репке, вспомнился мне Сорокинский белильный завод в Ярославле, где я года через три после лямки видел и самого Репку и этого самого старичка вместе с ним. Я видел атамана Репку, но ни я и никто из сотни заводской рвани, стабуненной в нашей грязной казарме, не знал, что этот огромный, бородатый ста-

ричище Иван Иванович и есть знаменитый Репка, когда-то гроза судовладельцев и обожаемый атаман низовой вольницы.

На заводе вообще никто не знал ни про кого, кто он да откуда, Никому до этого дела не было, а хозяину выгодно – беспаспортным меньше жалованья платили.

Кто не сказал своего имени-фамилии, прозвищем величали, как сам скажет. А то больше все по видимым приметам:

«Эй ты, рыжий! Эй ты, конопатый!» – у кого лицо шадровитое после оспы. А то был один безносый – так его звали «Нос», и он нисколько в обиду не вдавался. А одного пропойцу из отставных чиновников звали «Енотовые штаны». Он года за два до меня появился на заводе и кличку получил за то, что пришел в каких-то невиданных мохнатых штанах. И штанов тех давно не было, а все его звали «Енотовые штаны» до самой смерти. Он уже при мне заболел свинцовым отравлением и умер в больнице – судьба всех рабочих этого завода, кто вовремя не ушел...

А никому не ведомый Репка – что это был Репка, я узнал, уже уйдя с завода, – назвал себя Иваном Ивановичем. Так его все и величали с уважением Иванычем – уж очень фигура была величественная. А вот этого самого старичка, что теперь воблу о якорь колотит, чтобы шкура с нее слезла, звали Суслик. Без малого двадцать лет прошло, а он все такой же, только побелее стал.

Так он и в конторе был записан: «Суслик».

«Суслик! – бывало, управляющий конторой Юханцев вызывает при даче жалованья. – Суслик! Получи три с полтиной, ты рублевку вперед забрал».

«Ладно, забрал».

«Тимофей Сергеев!»

И Тимошка, крестьянин села Красного Костромской губернии, получает четыре с полтиной, потому что у него паспорт настоящий есть, а у Суслика никакого.

Вперед же, надо сказать, на Сорокинском заводе никому копейки не давали.

* * *

Удивительный рассказчик был Суслик. Когда через неделю после получки все проживутся до рубахи, – Суслик на сцену. И после ужина около него на нарах и на полу громоздятся опухлые от пьянства зимогоры и слушают молодой, звонкий голос сказыря.

Ровно и плавно льется рассказ. Ни одного жеста рукой, лицо неподвижно, только огромные брови иногда шевелятся и досказывают недосказанное. А глаза в какую-нибудь одну точку смотрят и будто никого не видят. Чаще всего в седую бородищу Иваныча. А тот первый его слушатель. Или сидит на своих нарах, свесив босые ноги, или лежит на брюхе лицом к сказырю, подперши голову исхудалой ручищей, которой у обыкновенного человека можно все лицо закрыть. Си-

дит и смотрит на грудь Суслика, и лицо его также неподвижно. Только иногда в серых, совсем не старческих глазах отражается то улыбка, то грусть, то они на секунду сверкнут, и опять – порыв сдержат, без участия глядят на грудь рассказчика. Я всегда слушал сказку, смотрел то на Иваныча, то на Суслика и не раз замечал, что, когда взоры их встретятся, у Суслика тоже сверкнет какая-то зарница – только на момент, – и снова у того и другого смолкнут глаза. И думалось мне не раз, что Суслик главным образом для Иваныча и рассказ ведет и что, значит, Иваныч знает-перезнает все его сказки-бывальщины... Даже больше, может быть, знает...

А так меж собой они и не разговаривали в другое время...

* * *

И вот сидит передо мной Суслик. Отбил воблу о железную лапу якоря и начинает с нее шкуру драть, а лицо все то же, закаменелое, как тогда на заводе во время сказок, только огромные брови пошевеливаются.

Да, это он, Суслик!

И страстно потянуло меня поговорить с ним. Поговорить о том, о чем я два десятка лет молчал – да и всю жизнь, думал, молчать придется.

Так и тянет меня к старику, товарищу моей бродяжной юности.

Да и чем, думаю, я рискую? Почему мне не сказать?

Если даже вздумает он кому-нибудь сказать, что мы зимогорили вместе, – кто ему поверит? Но эту глупую мысль я отогнал. Вспомнилось, что на другой день, как Репку отвезли, почти умирающего, в больницу, и Суслик оказался больным. Признаки болезни всегда найдутся: заявил, что колики замучили, и ложись.

Так с того часа до сего дня я не видал Суслика. И теперь только мелькнуло у меня, что они знали друг друга и раньше. Ведь в связи с болезнью Репки исчез в больницу и Суслик, который до того дня ни разу не жаловался на нездоровье.

Чем я рискую! Перепрыгиваю через перила сходней, чтобы не обходить целой горы хлама, подхожу и присаживаюсь на якорь, как раз против старика.

– Хлеб да соль!

– Хлеба кушать!

Жует хлеб, раздирает воблу – даже головы не поднял.

– Не узнаешь меня, Суслик?

– А?..

Даже вздрогнул весь. Правая бровь зашевелилась. Поднял голову, в глазах мелькнула молния испуга, но в тот же миг лицо стало маской.

– Все может быть. А я, васкобродь, вас прямо так и не помню... А память хорошая. Раз взгляну – не забуду. Да мне что... Я ведь не боюсь.

Говорит не торопясь, глядит как-то в сторону, а я чувствую, что на меня глядит.

– И бояться нечего – ведь я не полицейский.

– Мне что! Одно диву подобно... Что был я Суслик, это верно, что и говорить. Да-авно это было... А Сусликом я был. Диву подобно.

И тоже опять глаза и лицо без всякого выражения – только бровь подергивается... Посмотрел мне прямо в глаза вопросительно.

– Диву подобно!

– Диво больше будет! Мне ведь тоже тебя бояться нечего... Было время, на одном полозу ездили. Значит, друг на друга зря болтать не станем.

– Коли так, – так так! А диво!

– Ну, Суслик, слушай! Твоих сказок да бывальщин я наслушался, теперь мои за это послушай.

– Гляжу вот и в толк не возьму... Память отшибло.

– Ну так слушай, и память вернется! В Ярославле через два года после холеры на белильном заводе Сорокина ты кубовщиком был?

В первый раз я увидел, что глаза у него засияли каким-то добрым блеском.

– У Сорокина? Ну как же! Был.

– Ну и я там был, вместе кубики резали.

– Вот провалиться, не узнаю!

– Да и узнать трудно после опорков в этой шкуре.

– Чудесам подобно!

– А помнишь, кто больному Иванычу кубики помогал ре-

зять? Ты ведь от нас через два стола работал. А помнишь, когда на него с ножом бросился Сашка, кто спас старика?

Воззрился на меня Суслик:

– Чудесам подобно! Таперча узнал!

Он снял с колен картуз с хлебом и воблой, положил его на землю, встал и поклонился мне, согнув до половины свою широкую спину и касаясь правой рукой земли, и опять сел.

– Так, стало-ть, первым делом получи от Иваныча земной поклон по его завету. Уж как он тебя, умираючи, поминал! И велел он мне, ежели когда тебя разыщу, передать тебе его грешное благословение и поклон до сырой земли. Много он говорил о тебе со мной. Говорил, что ты из ходовых ходовой и что ты неспроста на заводе околачивался. Вспоминал он, как ты Пашку вроде кутенка паршивого шваркнул.

– Сашку?

– Пашку, а не Сашку! Кому Сашка, а нам Пашка... Диву старик дался. Пашку вся каторга боялась, а ты, на-ко, как кутенка!

Заходила бровь у старика, глаза смеются.

– Вот теперь тебя узнал... Ухватка все та же. Я видел, как ты через перила сходни пересигнул... как зверь. Недаром старик о тебе говорил... Ну да уж...

Он сунул в рот кусок воблы и стал жевать.

– Что сказал он?

– Ну да что уж. Кажись, тебя Лексеем звали? В остроге он таких видывал. Из господских детей там двое были... Уче-

ные... Супротив царя шли и народ бунтовать хотели... После Пашки разговор был.

– Там звали Алексеем, а тебя – Сусликом.

– Да я ведь к слову. Я ведь не пытаю, как теперь тебя кличут. Ведь что было – все сплыло... Вот и ты меня Сусликом спомянул – на том и стал. Кому надо, сам скажет. А молчит, так тому и быть, стало-ть, так надо.

– Спрашивай, все-все по чистой правде отвечу, мне скрывать нечего теперь.

– И кто и что, и где и как – зовут, мол, зовуткой, а величают уткой. Одно тебя спрошу и дальше – во, запечатано. – И положил на губы четыре пальца. – Запечатано. Только одно спрошу... Я тебе тоже послужить готов, хошь мне и под семьдесят, а я еще по полсотни верст в сутки бегаю... Бери меня – не раскаешься.

– Не понимаю что-то...

– Да я только одно это слово и хотел спросить, а там запечатано... – И опять четыре пальца на губы.

– Спрашивай, что хошь.

– Ну, скажи прямо: атаманишь где?

– Забирай выше. Это мелко. Какие теперь атаманы? Где станицу наберешь?.. Да атаманов больше, после Репки, не будет.

– Ре-епки?

И обе брови заходили, и глаза засверкали.

– Ну да! Я уж после узнал, что Иваныч-то, твой друг, Реп-

ка и был.

– Чудесам подобно!

Он схватился обеими руками за волосы, закрыл глаза и замотал головой.

– Ну да. Когда я с завода ушел, встретил на пристани в Ярославле одного, с которым в холерный год в ляжке до Рыбны шел, бурлачка, он и сказал мне по старой дружбе. Костыча сказал!

– И Федотку Костыча знаешь! Шабры мы с ним были... Из-под Банновки...

– Костыча... Улан... Петля... Балабурда, – начал я перечислять общих знакомых. После каждого имени он только свое все:

– Чудовина! Чудесам подобно... Ну теперь, кто ты ни на есть, – бери меня голыми руками. Я весь с потрохами твоей!

– Ну вот что, Суслик, чем на солнышке печься, пойдем на пристань в казенку чай пить.

– Да меня не пустят!

– Со мной пойдем – вот и ключ от нее.

– Ладно, пойдем, куда хошь, – после Репки теперь ты мой атаман.

Старик завернул остатки воблы и хлеба в тряпицу, сунул за пазуху, вынул берестяную тавлинку, потянул за ременный хвостик, открыл крышку, смачно понюхал и снова закрыл.

– Чего же меня не потчуеть?

– Табачишко-то плох, подмочен!

Опять открыл табакерку, пригласительно хлопнул два раза и подсунул мне.

– Да, суховат малость и с гнильцой. Ну уж я тебя своим пугну.

Вынул мою неразлучную маленькую табакерку, тоже стукнул два раза по крышке, что на языке старых нюхальщиков означает: «подходи, кто хочет».

– Серебряная никак? Поди, целковых пять стоит, – любовался он на мою табакерку.

– Отцовский подарок.

– У меня тоже была, поболее этой, тоже серебряная, с Петром Великим на коне². После проезжего барина на Казанском тракту мне пришлось.

Забрал большую щепоть, поднес к носу и остановился:

– Духовита-ай!

Торопливо зарядил за два приема обе ноздри. Открыл рот, что-то хотел сказать, да не успел – зверски чихнул.

Потом перевел дух:

– Вот так табак. Во... – и опять, остановившись на полслове, еще громче чихнул.

– Эх ты, дьявола, разорвало! – крикнул проходивший мимо крючник.

– Ну табачок, что надо! Ну-у!

² Лет через двадцать я осматривал коллекцию табакерок у известного московского купца Н.К. Голофтеева и, увидев серебряную табакерку с Петром на коне, вспомнил Суслика.

Я понюхал сам и опять подношу ему.

Берет, нюхает, зло чихает.

– Прямо зверь, а не табак! Отродясь такого не нюхивал!

– Этот табак мне делает по моему заказу отставной пономарь церкви Троицы Листы в Москве.

– Стало-ть, ты в Москве бывывал?

– Живу в Москве.

– В самой Москве? Ну чудовина! – И глаза удивленные. –

И... не трогают тебя?

– Нет, не трогают. Дай-ка твою тавлинку, я тебе своего сыпану.

Я выбросил его табак и высыпал ему свой.

– Да что ты? Себя обидел!

– У меня есть с собой запас табаку.

– Ну? Вот спасибо-то!

Открыл он свою тавлинку и меня потчует, хлопнув два раза. Потом сам зарядил – и расчихался.

– Ну и табачок – вырви глаз!

* * *

Захватил старик свою полупустую сумку и идет за мной по сходням на пристань.

– Тебя куда, дьяволище, черт несет! Пошел вон! – крикнул на него сторож, но я сказал ему, что это мой знакомый и чтобы он поскорей схлопотал нам чай. Дал ему рубль, велел

купить фунта три калача и баранок.

Через четверть часа за столом сидели я и распоясавшийся, в одной рубашке, Суслик и пили чай из огромного медного чайника, прямо в котором и был заварен в трактире чай.

Я развязал корзинку с донскими гостинцами. Чего-чего тут не было! И пирожки с мясом, и с яйцами, и с вареньем. Были домашние колбаски, ветчина, сало с розовой прорезью и три бутылки домашних старых на спирту наливок: вишневка, терновка и сливянка, густая, как сливки, то, что называется спотыкач: голова от нее свежая, а ноги спотыкаются. Мы молча, деловито пили чай, молча закусывали, только Суслик, со вкусом долго пережевывая каждый кусок, то и дело повторял:

– Ну, Алексей Иваныч, и угостил! Отродясь такого не едывал!

Поели досыта. Закончив чаепитие, Суслик повернул вверх дном стакан на блюдечке и положил на дно огрызочек сахара. А я опять стакан перевернул:

– погоди, у нас еще на верхосытку кое-что есть!

Откупорил сливянку и налил себе и ему, а на закуску положил сдобные пирожки с вишнями.

– Не пью ведь я его, винища-то.

– А ты попробуй, не заставляй меня одного пить!

– Ну, коли так, со свиданьем! – Осторожно сделал глоток, покачал головой. – Ну и чудовина! – Еще отпил. – Гожо, ой гожо... – Я налил еще по полстакана. Пили и разго-

воры разговаривали. Разоткровенничался старик и все еще принимал меня за атамана какой-нибудь шайки, переодетого «для делов» в форму.

Трудно мне было объяснять ему те вещи и положения, о которых он никакого понятия не имел.

Я рассказал ему всю мою жизнь, и все он потом понял, но одно непонятно было ему: зачем я от семьи, от хорошей жизни бедовать в бурлаки да на белильный завод пошел?

– Диви бы ты пьяница был либо запутался в чем-нибудь, то кинул отца с матерью, ученье и житье барское...

Объяснил я ему о хождении в народ, объяснил, наконец, что я писатель, а чтобы писать, надо нужду народную узнать – вот для чего я бросил семью и стал писателем, и что описал уже жизнь бурлацкую и нашу работу на белильном заводе, что это прочитают, обратят внимание. Он согласился, что надо всю правду писать...

– Так вот, покойный Репка тогда еще тебя раскумекал, что неспроста ты на заводе... и я согласился с ним, только по-своему, я прямо подумал, что ты станицу собираешься составить и подходящий народ подыскиваешь. Так вот и сейчас думал, что ты атаманишь... А вот Репка-то говорил, что в старину такие люди, как ты, бывывали... Давно это было, еще до воли – при Николае Павловиче, рассказывал он мне уж в больнице, когда тебя и Пашку вспоминали. В скиту он жил, и жена его там была, а потом приехали полиция и войска забирать их, а они заперлись в сборной избе и все сами

себя сожгли. И жена Репкина сгорела... Это еще до меня было, я уж после с ним познакомился... Самого его не было в те поры в скиту, а когда он пришел, на него солдатня навалилась – много он их пошвырял, а все-таки осилили и отправили в Сибирь в каторжный острог. Ну вот, рассказывал он, что там был такой писатель, который за народ стоял и супротив царя за правду стоял. Уж крепко они подружились, и Репка его звал бежать, но тот был человек слабый – отказался. И был там один жиган, три раза обратник, из себя зверь, вроде Пашки, он этого писателя все травил за что-то, а Репка за него заступался, жигана изувечил и сам потом убежал. «Так вот и Алеша за меня заступился... Он неспроста на заводе», – говорил атаман. Вот тогда я понял, что такое писатель, а потом забыл, да вот ты напомнил.

Бутылку мы усидели всю, а он все говорит:

– Ты, значит, про завод всю правду описал в книгах?

– Всю. Только не назвал города и фамилии хозяина – этого начальство не позволило бы.

– Так. Значит, писатели-то, как и мы, сказыри... Рассказываем сказки да бывальщины, а имя-то настоящее переменим, ежели про живого говорим либо про какого-нибудь важного... В некотором, мол, царстве, да в некотором государстве жил-был... А имени-то не скажешь. И без имени овца – баран! А кому надо – догадается. Вот, ежели помнишь, я на заводе рассказывал, как атаман Дятел на нашу бурлацкую ватагу напал и как Репка в честном бою один на один этого

Дятла зашиб насмерть и мы, бурлаки, у разбойной станицы Дятловой всю их добычу отобрали? Для тебя и для других заводских все это сказка была, а для нас с Репкой – бывальщина. Ну вот я тебе говорю: разве можно правду говорить, ежели бы знали, что сам Репка про себя слушает, что Иваныч-то он и есть?

– Ну вот, друг ты мой, и я той же дорожкой иду. Ну как в моем положении в Москве, примерно, где с разными богатыми и знатными мне возжаться приходится, как мне рассказать по правде о том, что я бурлачил, крючничал, зимогорил, – да мало что было? Ведь мне бы одни не поверили, а другие просто-напросто знаться со мной за позор сочли.

– Праведно... Значит, помалкивай.

И опять четыре пальца на губы...

К этому разговору мы снова вернулись за трое суток, которые нежданно-негаданно мне пришлось провести с ним...

Слушал я его, слушал, да и самому захотелось поговорить. Прочел я ему свою поэму «Степан Разин». Каких уж я похвал от него наслышался, – говорить не приходится, а после своей поэмы я прочел ему «Утес» А.А. Навроцкого.

Есть на Волге утес, диким мохом оброс
От вершины до самого края...

Как вскипел старик – глаза засверкали.

– Эту песню я слышал. Года три назад на пароходе, на кор-

ме сидели пятеро. Они сели в Самаре. Пели эту песню... Говорили, что студенты они... Потом явились капитан пароходный, жандармский полковник, и их разогнали, петь эту песню запретили... Уж как мне хотелось добиться эту песню...

– Изволь, я тебе прочитаю всю.

Особое впечатление произвели последние строки:

...Если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорожую, любил
И во имя ее подвизался,
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет,
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

Слезы на глазах старика, выражение восторженное. Маска слетела прочь.

– Знаешь, Владимир Алексеевич (я ему открыл свое настоящее имя), ведь я сам оттуда, бывал на этом утесе, по-нашему Разин бугор, и сейчас туда еду... Ведь я сам из-под Нижней Банновки родом, а мать моя родом из Данилихи, что у самого бугра...

– Суслик... Уж извини, я тебя так по-старому зову...

– Так и зови.

– Знаешь что, свези меня на Разин бугор. Издали с Волги я его видал, а хотелось бы на нем побывать. Поедем вместе, билет я тебе возьму.

– Ладно, сведу. Тебе надо побывать, ты еще лучше напишешь что... Трудно туда забраться, и никто там не бывал, кроме тех, которые клады ищут... А мужики наши в жисть туда не пойдут. Там, говорят, сам Степан на цепи в пещере прикован.

В это время отворилась дверь, и ввалились два пассажира из местного купечества.

* * *

Я и Суслик в час дня выехали на «Самолете» до Нижней Банновки. Пароход пришел в Нижнюю Банновку в шестом часу утра. Я нанял лодку отвезти нас под бугор и к вечернему пароходу обратно в Банновку.

Не раз мне приходилось пробегать этот плес, и каждый раз с парохода смотрел я на этот знаменитый утес. Но по наружному виду он впечатления не производил – скала и скала отвесная среди целого ряда подобных утесов сажен около ста вышиной, прорезанных глубокими оврагами. Утес Степана Разина голее и отвеснее остальных. А над всеми ними рядом с утесом поднимается Дурман-Гора.

Не напиши А.А. Навроцкий своего стихотворения, не пой его студенчество, может быть, и не говорили бы о нем. Уж

очень много более красивых и ярких мест в этой реке легенд, Волге-матушке.

– Приткнись тучочка, – ткнул пальцем Суслик к поросшему лесом оврагу рядом с голой стремниной Разина бугра. – Есть еще там ход через Данилиху, ну да ладно, ихней дорогой я проведу тебя. А вы, ребятки, доставайте казанок да кашу варите, а мы к закату смотаемся.

Это были единственные слова Суслика за всю дорогу гребцам. Да и со мной он ничего не говорил. Гребцы тоже молчали. Значит, люди бывалые – рот запечатан.

Суслик – яркий представитель бывалых людей. Все у него по старинному правилу: во время еды молчит, дорогой молчит. И я, зная эти правила, подчинялся им.

«Нашел – молчи, украл – молчи, потерял – молчи».

Оставив багаж в лодке, мы взяли с собой только донскую корзинку, уже значительно облегченную, и зашагали по берегу Волги, постепенно поднимаясь по узкому известковому карнизу, где и следа тропинки нет. Из-под ног сыплется выветрившаяся порода, полная окаменелостей. Чего-чего тут нет! И «чертовы пальцы», и раковины, и куски окаменелой хвощи, и дерево, нередко самых причудливых форм. Я никогда и нигде не видал ничего подобного. Вот где можно составить сотни коллекций! Я иногда наклонялся и поднимал что-нибудь уж очень интересное и обращался к Суслику, шмыгавшему молча впереди меня в своих удобных для такой дороги лаптях, чего я не мог бы сказать о моих сапогах

с каблуками.

– Суслик, нет, ты погляди какая!

– Ну ее, кинь. То ли там есть еще.

Идем. Вот уже рядом Разин бугор – ан овраг на пути, отвесные скалы, а в низу их кусты и деревья скрывают дно пропасти. По отвесу кое-где висят отдельные дубы – корни их в каменных трещинах, а сами на весу. А там, глубоко под нами, по дну журчит, сбегает ручеек в Волгу. Кругом наверху все голо. Из стены каменной ключики-роднички живыми хрусталиками сбегают в ручеек... Они то там, то тут, то над нами, то под нами... А солнце палит, и где возможно, рискуя загреметь в пропасть, вися над стремниной, подставляешь шапку под струйку и набираешь холодной водицы... Ни следа, ни признака тропинки. А над нами Дурман-Гора.

– Сюда вали.

Суслик тычет пальцем в густой кустарник, скрывающий бегущее вниз подобие тропинки нехоженной, на которой и признака человеческих следов нет. Она, иногда круто, иногда полого, спускается вниз карнизом по стремнине среди мелкого кустарника, таящего свои корни в расселинах. Из-под ног сыплется... То вдруг пропадет она – приходится держаться за утлые кустики, то снова вынырнет перед глазами, усеянная мелкими осколками... Иногда куча этого мелкого щебня, как живая, ползет из-под ног и тебя тащит. Того гляди, и сам сползешь в преисподнюю. А Суслик молчит, сопит и шмыгает легко и под ноги не глядит.

Вот и переход через пропасть по естественному мосту: будто ломоть хлеба, поставленный в чашке стоймя, упираясь концами в края, перерезает широкий овраг узкий гребень гладкокаменный на пятидесятисаженной высоте со дна оврага и поросший на другой стороне и на хребте кустарником и серой полынью. Местами он не более аршина ширины – и пропасть с обеих сторон. Из-под лаптей Суслика тарахтит и сыплется щебенка, а под моими сапогами она визжит и еще больше летит вниз. Того и гляди загремишь, и ухватиться не за что. Перевалили овраг. Ползем почти по отвесу на голую скалу утеса, сплошь покрытую полынью. Перед нами глубина оврага, стены голые кругом, и нам, кроме полосы неба над головой, ничего не видно. Выворачиваем за острый угол скалы – справа сверкнула Волга, сияет даль неоглядная в полуденном солнце, а над нами висят дубки, старые дубки, но корявые, коренастые, и верхушки их со стороны степного Заволжья ветрами обиты, отвернулись и склонились в одну сторону и к горе глядят. Мы повернули влево, стали огибать утес, на котором дубки растут, и дорога к ним была ровная и легкая. Я после остановки у ключика, спадавшего из скалы каскадиком, из которого мы оба напились, шагнул было вперед Суслика по полынку прямо к дубкам.

– Ликсеич, не туды!

Указал рукой в другую сторону, на откос, и сам начал сползать вниз опять по кустарнику.

Я хотел спросить его – разве эти дубки не на вершине го-

ры, – но смолчал: старик не любил пустых разговоров. Через несколько шагов я убедился, что спрашивать не стоило: дубки оказались на отдельном кургане, и перед нами открылась за новым оврагом Высокая гора, на которую мы лезли полчаса.

С каждым шагом вверх горизонт расширялся кругом. Только с одной стороны был загорожен единственной вершиной Дурман-Горы.

Вот еще купа дубков, и наконец Суслик поставил корзину на землю и, садясь в тень от дуба, широко махнул рукой:
– Гляди, вот мы и дома!

Я стою сам не свой.

Почти из-под ног сорвался огромный беркут и закружил в высоте.

«Один в вышине стою над снегами у края стремнины...» – выплыли передо мной слова поэта, хотя я еще не отдышался.
– Седай, Ликсеич, давай пополуднуем! Ужо поглядишь.
Мы на утесе Степана Разина, и действительно:

На вершине его не растет ничего,
Там лишь ветер свободный гуляет...

Отсюда он понятен. Снизу, с парохода, он не производит впечатления.

Когда я поднимался на него, видел, кроме кусочков дали горизонта, только камни под ногами и кругом камень голый.

И думалось мне: «Чего такой атаман здесь нашел? Да хуже места и не придумаешь! Мало ли их по Волге, притонов? И Костычи с пещерами, и Столбичи с обрывами, и дикие, лесные Жигули... А то, на-ко, один плешивый камень да польнь-трава горькая!»

И вот только поднявшись сюда, понял я, что лучшего разбойного притона для атамана волжского не придумаешь.

Да, там был притон! Там он жил, никакой силе не доступный, со своей огромной ватагой, в лесах диких, о которых теперь только преданья остались.

Струга его разбойные внизу, в зарослях оврагов скрывались.

С утеса видна даль реки.

А ведь не легкое дело огромной ватаге спуститься по стремнинам по той самой дороге, известной теперь только Суслику! Нелегко перетащить струга из тайников на воду... Время и время на это нужно!

И здесь, на каменной площадке, где мы теперь, стоят, бывало, дозоры. Один глядит вдаль, на Волгу, на широкий горизонт, а другой – кверху, на Дурман-Гору, где тоже дозоры стоят.

Вот на этой самой лысине мы теперь с Сусликом выше всякого живого существа, кроме разве беркутов, что кругами выплывают из тумана и кружат над нами. В те времена там, где мы теперь после головоломной прогулки по не ведомым никому стремнинам опустошаем корзину с донски-

ми лакомствами, стоял главный атаманов дозор, которому во все стороны даль беспредельная открыта.

Идут караваны по несколько судов – поодиночке тогда боялись ходить. И видны эти караваны отсюда за много верст. Есть время спуститься и струга приготовить к спуску на воду. И кроме дали видна отсюда между отвесом утеса и водой реки узкая твердая полоса берега, сама дорога бурлацкая... Гладкая, всегда сухая, каменная...

И представляется картина.

Идут караваны под утесом... Бурлаки песню плачут... А сверху утеса громовой окрик:

– Сар-рынь на кичку!

А струга уже на воду спущены – атаманова слова ждут.

И видят бурлаки на самом верху отвеса грозную фигуру в красном.

– Сар-рынь на кичку! – гремит с утеса.

И падают сотни бурлаков лицом на песок.

А десятки легких стругов летят на громоздкие расшивы, и несут по горным тропинкам, где мы только прошли, добычу богатую удалы добры молодцы к ногам атамана.

– На золотом кресле сидел на этом самом месте Степан Тимофеич. И много золота-серебра зарыл он и заклил в этих местах, – рассказывает мне Суслик. – Вот гляди, гляди: все расковыряно, все ямы... ямы... Еще когда я мальчиком сюда бегал, так уже ямы были... Все поклажу атаманову искали. Сколько народу с ума посходило, и никто никогда ни копыя

не нашел! Потому заклятие...

– Почему ни копыа? – спросил я.

– Ни копейки, значит... Бывали в старину серебряные монетинки, махонькие, вроде рыбьей чешуйки, а на них Егорий на коне, а в руках его копые. Потом уже медные копейки пошли, и тоже Егорий с копыем... Ну вот, значит, ни копыа нет – значит, ни копейки. Понял?

Понюхали табачку, и дальше он речь повел:

– Сказывают, что сам атаман их бережет, что он смерти лишен и осужден век-веченский, сколько ему положено, мучиться здесь в подземной каменной пещере, со своими золотыми. И нечистая сила в полночь выводит его сюда, обедом кормит – щи ему из горячей смолы варят, и пироги каменные грызет он... Вот я давеча тебя окликнул, когда ты камень поднял... А почему? Да потому, что ты поднял каменный пирог, наполовину откушенный... Может, тот самый...

– Суслик, ты умный... Неужели ты веришь этому?

– Допрежь не верил, а стал постарше – всему верю! И разум одно говорит, а ум-то другое... под старость разум-то уму на смену приходит. Разумом-то как пораскинешь – ну как можно человеку тысячу лет жить и мучиться, смолу хлебать да каменные пироги жевать? И что человек этот за грехи свои кровавые живет века в подземной пещере и когда-нибудь во всей силе встанет... И что встанет он тогда, когда весь народ такой же грешный будет, как он, и поведет он опять народ за собой... Вот, пожалуй, как не поверить, что

он встанет... Мало ли чудес на свете... Вот, верю, что он встанет!

Сколько переговорено было за этот день на грозном каменном утесе, носящем имя грозного атамана!

Рассказывал он мне свою жизнь, и я ему много из своей. Прочел я ему еще отрывки из своей поэмы «Степан Разин», чем окончательно поразил его.

– Чудовина! Премудрость! Слушаю я тебя, и будто сказку сказываешь, отроду неслыханную! Сказка, да и все тут! А ведь на деле-то выходит бывальщина... Расскажи мне кто другой про себя это, – в жисть не поверил бы... Ежели я сам расскажу про тебя, как встретил таперича, как ты из зимогоров, да еще из каких, в такие люди призошел, – скажут: сказку сказываешь, этого не могить быть! Можно сказку сплести, как зимогор в цари вышел, – и найдутся, поверят которые. А которые и бывальщине не поверят. Я сызмальства сказок наслушался да бывальщин. Да было от кого и послушать! Ведь мы, банновцы, коренные, здешние. Наши деды-прадеды этого бугра не минули. Оттого у нас и доселе, видел на пристани, народ-то какой – богатыри на подбор, урвать да уехать! Хлеба сеют мало, для себя только, а Волгой-матушкой кормятся... Так и лепится к ней полсела, в Волгу вдвинуто...

Эх, матушка Волга
Широка и долга, —

замурлыкал старик.

Встряхнувшись, он продолжал:

– Мой дед, материн отец, есаулом у Пугача был... Ой да и богатырь! До самой смерти избы не знал, только обедать и ужинать приходил, а спал всегда на дворе, и зимой. Язык у него вырезали... А где и кто вырезал, мы не знали. Пришел он, после того как Пугача на Москве казнили, домой, так и жил молча, рыбачил, а по зимам лапти да корзины плел... Отец в ляжке ходил сызмала – на Приокшане от холеры помер. Дядя один без вести пропал, тоже бурлачил, а другой, отцов брат, годов десять пропадал. Весь в него был, а отец в деда, а дядя повыше отца. Раз вернулся он домой клейменный и ноздри рваные. В баню я с ним еще мальчиком хаживал... Как слезет с полка, – глядеть страшно, как тигра полосатая, живого места на спине нет после сибирских плетей каторжных. Ноздри рваные, а табак нюхал.

Вспомнил про табачок Суслик, рванул тавлинку и мне поднес.

– И я от него занялся нюхать еще мальчиком. От него сказки и бывальщины перенял. Впрочем, он редко сказки, больше бывальщины рассказывал да про свои дела, про жизнь осторожную, про побег там... Бывало, всю ночь его слушаем. А сказки я от бабки. Та больше про богатырей, про нечистую силу, про царство подводное, где во дворцах у водяного царя живые люди живут, которые на кораблях утонули. Про Змея-Горыныча... Уж вот как ладно у нее все выходило... И

сказывает и поет сама... Про Ягу-бабу и что с Иван-царевичем в ступе на Лысу гору летала – она сама помелом облака разгоняет, а он на гусях играет... А бабка и говорит и поет, а на губах трень-трень, как на гусях... Слушаешь, закроешь глаза – и все как живое видишь. Про змия огненного, который к колдунье по ночам в трубу летал и со всего света вести ей собирал для колдовства, рассказывала... Помнишь, Ликсеич, я на заводе все их рассказывал.

Остановился старик, глядя на меня.

* * *

Понюхал он табачку, меня угостил и спрашивает:

– Ликсеич! Скажи ты, напожалуста, как по-твоему? Откуда сказки родились, вот вроде Иванушко-дурачка и ковра-самолета? Ведь их не придумаешь... Так смекаю, что в старину старинную все это было, а потом у кого-нибудь – уж у внуков-правнуков – отрыгнулось? – А, ну-ка...

Не успел я ему слова ответить, как с поднявшейся левой бровью и сверкнувшими глазами ухватил меня за руку и шепнул:

– Слышишь?

– Что? Ничего не слышу...

– Нет, ты послухай... Быдто кипит... Слухай сюда.

Я приложил ухо и слышу, что под землей булькает и журчит, о чем сказал старику.

– Тот-то вот и оно-то. Смола кипит. Пойдем-ка на другое место... А ты говоришь...

Скажет слово и губами пожует. Должно быть, слово подыскивает.

– Это вот среди бела дня... А ночью... Годов тридцать, а то и поболее, может, сорок, мы с одним бурлачком, тоже дурак, явились сюда клада искать. Ну рыли, рыли – целый день промучились и заночевали... Так насилу до утра дожили – и бежать. Вот гудело под нами!.. А потом треск – будто камень кто-то грызет... Пирог-то каменный ты нашел? А то кости вот каменные валяются... Вот видишь, ведь прямо-таки мосол перегрызанный – ан он каменный. Вот я тогда и поверил. Может, Степан-то его грыз...

Я не хотел его опровергать и читать лекцию об окаменелостях и подземных ручьях, а для перебоя разговора прочел, к его великой радости, опять «Утес» Навроцкого. Когда я закончил словами:

И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет...

– Это правда, – сказал Суслик. – Может, он и говорит что, да не всякому дано понимать... Аль еще время ему не пришло... Такой человек не народился. Ведь все сюда приходили только с корыстью – клады искать... Ишь расковыряли... Вот ты, Ликсеич, пришел сюда... Так пришел, из любопыт-

ства, потому что вон как про него песню написал. Тебе это и надо... Другого бы я ни за какие деньги не повел сюда... Ну скажи еще, как его казнили-то...

Я читал ему стихи. Потом перевел разговор на его прошлое, и опять он начал речь о сказках и бывальщинах, как они родились.

– Ты думаешь, я так везде все одно и то же сказываю?... Как выйдет. Вдругорядь приплетешь к сказке и чего нового... И бывальщины тоже. У бурлаков одно сказываешь, у мужиков другое, а у раскольников свое надо говорить. Они охочи слушать, только не все, сказок не любят, да и бывальщину им надо про скиты да про то, как бедному человеку от начальства страдать приходится... Еще про острожное житье ка-торжное любят... А видел-то я, старый бурлак, много чего... И Волгу от низов до Рыбны раз десяток смерил, и в острогах сиживал – прямо тебе, Ликсеич, говорю, только тебе, и у раскольников не раз зимовал... И на Черемшане, и на Иргизе, и в вологодских лесах бывал у поморов благочестивых, что чашкой-ложкой отпихиваются от мирского греха... А зато как нашему брату вольно и отдохновенно у них! Сами они от начальства скрываются и нашу нужду потому понимают. Вольно у них! Придешь – не спросят, кто ты да откуда, – садись да обедай! Только табаку не кури в скиту, а нюхать так норови, чтобы не видали. Под носом чисто держи, а то заметят – беда! А тихо да мирно – живи да спасайся на покое да весны дожидайся! Ведь знают они, что только перезимовать

пришел вольный человек, а весной утечет за первой водой по ручьям да по речке вилять до Волги-матушки, навстречу птице, туда норовишь, откуда на свое гнездовье птица летит. Никто не спросит. Скажут отцы седые-бородатые в ответ на поклон: «Иди в сборную! Живи. Там ваших, что от начальства-антихриста спасаются, немало...» И никто тебе в душу не заглянет. Понимают они по себе, что правду сказать тебе негоже, а тутошние люди все по правде живут и других вопросом неладным в грех не вводят. И на что им чужую душу ворошить, в чужой колодец заглядывать? Ведь все равно ничегошеньки в темноте глубокой не увидишь, а ежели солнышко осветит глубь водицы сверху, то еще как выйдешь!

* * *

Придешь в сборную – на отлете, в самом лесу изба большая для нашего брата постановлена – как домой в нее идешь. А там уж свои люди знакомые, свои ребята, кто с борку, кто с сосенки. И живешь зиму-зимскую долгую, студеную, никто с нас ровнехонько ничего не спрашивает, отпускают хлеб и приварок невпроед, а кашевар из своих. Охотой своей идем мы в лес – работаем; дрова рубим, либо стройку какую, что покажут. День работаем, а ночи наши. Так и спасаемся до вешней воды. В ночи бессонные, когда лучина в светце погаснет, самые тут бывальщины и польются. Народ все такой, что каждому есть что порассказать. И кто что видел и кто

что слышал, цел ли такой-то, сторел ли такой-то, вернулся ли этот из-за бугров. С бывальщины на сказку, со сказки на бывальщину...

* * *

А то раз зимовал сторожем в женском скиту, где кружевницы и вышивальщицы жили... И все присматривался, как они на своих подушках с кружевами мастерили. Где нитки, где дырки, а выходит то, что век не забуду: то это на кружеве избушка, около нее елочка, и дымок из трубы курится... А то келейка, на келейке, на князьке петушок... Гляжу через ее плечо в окошко, а напротив стоит точь-в-точь такая келейка и петушок живой на князьке... То монашек в лодке плывет. А ежели это кружево положить на синюю нанку, так по морю синему он плывет... А ведь этот петушок да монашек в душе у той кружевницы жили! Вот она свою душу для других и выложила.

Так и бывальщина вроде петушка на кровле, а сказка – монашек в лодке...

Так и сказки и бывальщины! Лютяся-выютя они в ночи темно-бессонные и ложатся в памяти у тех, кто их слушает. Да не всякому дано кружево плести! Другая так сплетет, что заместо петушка-то Змей-Горыныч, чудище объявится, а вместо монашка в лодке не то кит-рыба, не то еще что страшнее. И выйдет тогда сказка из бывальщины! А который знае-

мый, в ней бывальщину увидит... Ведь видели же кружевницы петуха на кровле? Живой кукарекал, на солнышке крыльшком хлопал! А у другой он чудовищем выходит!

Так-то из бывальщины сказки рождаются. А другой от себя чудовинное приплетет, что в голову взбредет.

* * *

Ходили и лазили мы на вершине утеса, показывал мне Суслик и ту яму, которую сам копал за кладом.

– Во, гляди, я ее махонькую оставил, а на место ее какая прорва – другие старались! А эта прорва уже дубком заросла...

Свежих ям не было – все позаросшие... А их много, много... Останавливались, опять сидели, и опять все о Стеньке Разине легенды он рассказывал... Теперь их повторять нечего – почти все они напечатаны в разных путеводителях и поездках по Волге, только не совсем так, как это у Суслика выходило, – всякий свое кружево плел. Никаких сказок он не рассказывал, только что о Разине да о разбойнике Рукше, который еще до Разина был и на этом самом утесе держал свой стан разбойный. О Рукше я помнил его длинный сказ еще на белильном заводе – это смесь Разина и Ермака. Рукша и в Персии был, и царицу персидскую увез, и ушел со своей ватагой Китай завоевывать. И во всех сказках о Разине говорилось только одно, что он живет то в том, то в другом

подземелье, где нечистая сила терзает его, и когда он отму-
чится, грехи свои перестрадает, то опять встанет прежним
и народ на царей и на бар поведет, и уж на этот раз изведет
всю неправду.

– А все-таки, что ни толкуй, а у нас его ждут... И дождем-
ся, много греха пошло!

* * *

Вспоминали прошлую жизнь.

– Никого, думаю я, Суслик, из наших общих знакомых не
осталось?

– Не говори... Балабурда жив, Пашка жив... Рука-то у
него с тех пор отсохла... Все на тебя серчает, ежели, гово-
рит, найду этого дьявола, я ему кишки выпущу и на локоть
намотаю.

– Где ты его видел?

– Да у Балабурды годов семь назад я гнал плоты из-под
Перми по Каме в Царицыно, как вот и теперь, да меж Осой и
Оханской нас буря вдребезги разбила... Уж и буря была! Ле-
са с корнями выворачивала, избы понесло в деревнях...
Меня выкинуло на берег около деревни Беляевки замертво.
Очухался я, гляжу – в избе лежу; а около меня сидят Бала-
бурда и Пашка. Они меня подняли на берегу и перевезли на
лодке в свой лесной хутор, верст десять от Беляевки... С год
я у них валандался, да сбежал, смертоубийств много. Выез-

жали на лошадях, грабили и убивали по дорогам, потом заманивали беглых из Сибири – здесь им путь был, обратникам, а кои с деньгами – убивали да с камнем в воду... Убежал я... Балабурда-то еще торговал в Беляевке, его за купца там почитали. Ну да вспоминать неохота... И то чуть сегодня не попался.

– Как сегодня?

– Да на пароходе признал было меня один из Оханска: «Торговец, говорит, ты в Беляевке, кажется, жил?» Насилу отшился. Притворился глухим, а потом все за трубой лежал рылом вниз, пока не слез в Банновке...

Это он мне рассказывал уже на обратном пути, когда мы спускались вниз к реке.

– Глянь, Ликсеич, вот камень-то, кой ты кинул, пирог как есть.

– Так, думаешь, его Стенька глодал?

– А ты не смейся. – И вдруг остановился, прислушивается, бровь поднялась. – Слышишь?

– Чего?

– А в горе кто-то стонет.

И наклонился ухом к скале. Я тоже.

– Ничего нет.

– Нет? Значит, мне поблазнило.

Я взял камень и сунул его в карман.

– Бросил бы ты его, Ликсеич, ни к чему. Глянь – чистый пирог и угрызен. Кинь.

Я незаметно поднял другой камень и швырнул его в пропасть.

– Так-то лучше.

И успокоился.

А камень я так и привез – пирог и угрызен. Вспоминаю...

Солнце было низко, когда мы подходили к нашей лодке. Издали был виден костер, а около него наши гребцы кашу варили. Мы присели в кустах и еще поговорили.

– Жаль мне расставаться с тобой.

– И мне жаль, Ликсеич!

– Мне бы хотелось твои сказки записать все.

– Их в месяц не запишешь, а я что же, я бы для тебя рад послужить.

– Так вот что, приезжай ко мне в Москву, погости у меня подольше, а то я тебе и местечко схлопочу. Приезжай как домой. Меня не будет ежели, все равно я дома распоряджусь. Ты только скажи, что Суслик, примут как моего друга. А я твои сказки напечатаю, и нам за них заплатят большие деньги. Навек обеспечен будешь...

– Ладно, коли так.

– Буду ждать. Вот тебе мой адрес, пиши, что, мол, приеду, а я тебе на дорогу тридцать рублей вышлю, на чье хошь имя, на какого-нибудь твоего знакомого, если на свое не захочешь... Да я, кстати, и не знаю твоего имени, да мне и не к чему. Суслик для меня дороже...

Мы сговорились. Я дал ему двадцать рублей – насилу уго-

ворил, не берет, – и мы расстались у лодки.

– Ну, прощевай, Ликсеич... Я опять в гору пойду, в Данилиху.

Оказалось, Данилиха была почти рядом с вершиной утеса, но он проводил меня, во-первых, потому, что я бы дороги не нашел, а главное:

– Чтобы сумления не было. А ребята мало ли что подумать могут, привезли двоих, а назад один едет... Все можно подумать.

* * *

Шли года, а о Суслике ни слуху ни духу.

И вот теперь, через десятки лет, я заканчиваю эти мои воспоминания о нем у себя в Картине. Передо мной лежит тот самый «угрызенный пирог» Стеньки Разина. Надо мной шумит аэроплан – через нас путь воздушной почты с заграницей, – и вспоминаю слова Суслика: «То, что было сказкой, – стало бывальщиной, что бывальщиной было, чего люди не помнят, – станет сказкой...»

Если бы Суслик видел аэроплан – этот ковер-самолет!

Если бы он слышал радио и видел антенну, от трубы к сухой березе протянутую, а ночью в приемнике огоньки мелькают?..

А Репка, Балабурда, Пашка, сам Суслик, бурлаки, шагавшие тысячи верст в лямке и усеявшие своими костями при-

брежные пески Волги-матушки, – эта моя пережитая бы-
вальщина сказкой кажется.

ПО СЛЕДАМ ГОГОЛЯ

От отца, свято чтившего книги Гоголя, с детства проникся я любовью и уважением к этому писателю, а прочитавши «Тараса Бульбу», а позднее и другие его произведения, на всю жизнь остался верным почитателем каждой его художественной строки.

Родство с запорожским казачеством, неостывающая любовь к степям и просторам питали это чувство, и я постоянно тянулся к Гоголю, к его книгам и ко всему, что было связано с его родными местами.

Понятен мой восторг, когда в конце 1898 года я смог поехать на Украину, чтобы повидать гоголевское окружение, а может быть, и современников, знавших его лично.

По делам коннозаводства, которым я издавна увлекался, в январе 1899 года я приехал на Дубровский конный завод близ Миргорода и остановился у заведующего Ф.И. Измайлова, который, узнав о моих увлечениях Гоголем, предложил мне поехать в Миргород и Сорочинцы, дал лошадей и посоветовал, к кому там обратиться за интересующими меня сведениями.

Лошади были готовы, и чудная дубровская тройка быстро, несмотря на занесенную снегом дорогу, домчала меня до Миргорода, до того самого Миргорода, где целиком, с натуры были списаны действующие лица «Ревизора».

При въезде почти во всякий русский уездный город обыкновенно наткнешься на острог. Миргород являлся исключением: это мир-город, где даже острога не существовало, а в предполагавшемся для острога здании едва ли не помещалась школа.

Но впечатление при въезде в город все-таки неприятное: слева от дороги – кладбище, а справа – казенная торговля водкой (монополия).

Пей – и умирай!

Зато далее глаз отдыхал на роскошных зданиях Гоголевского училища, расположенного в молодом саду.

– Гоголевское! – с гордостью говорили миргородцы и сорочинцы. Здесь Гоголем гордились и все бы, кажется, готовы назвать гоголевским.

– Наш Гоголь! – говорили здесь.

Только разве некоторые потомки героев «Мертвых душ» как-то неохотно вспоминали о великом писателе: так метко были описаны их деды и отцы.

Въехав в город, я направился в уездную земскую управу, к председателю С.И. Смагину, с которым еще давно познакомился у Ан.П. Чехова и не раз встречался в Москве. В управе я встретился с местным судебным следователем, старожилем Миргорода, М.В. Домбровским, и тотчас же разговорились о Гоголе. Между прочим, М.В. Домбровский показал мне только что полученное им объявление об издании «Истории русской словесности», составленной П.Н. Полевым, и

обратил внимание на прекрасно исполненный рисунок с подписью: «Дом, где родился Гоголь, в сельце Васильевке».

– Прекрасный рисунок, и дом очень похож, – сказал М.В. Домбровский, – только одно неверно, а именно: Гоголь в этом доме только жил, а родился он в Сорочинцах, в доме Трахимовского; домик этот цел и теперь принадлежит становому приставу Ересько. Да не хотите ли проехаться в Сорочинцы? У меня, кстати, там есть дело; а вас познакомлю кой с кем из современников Гоголя. Итак, через час я к вашим услугам, а пока посмотрите Гоголевское училище.

С.И. Смагин провел меня в училище, директор которого С.И. Масленников показал классы, мастерские и музей.

М.В. Домбровский был аккуратен, и через два часа, сделав 24 версты по пустынной снежной степи, мы были в Сорочинцах и остановились перед хорошеньким одноэтажным домом, принадлежавшим О.З. Королевой, современнице Гоголя.

Поднявшись на резное крыльцо с колоннами и пройдя сени, мы вошли в прихожую, где босая дивчина помогла нам раздеться, и затем очутились в большом светлом зале – уставленной цветами и украшенной картинами гостиной.

Нас встретила невысокая старушка в чепце и темном платье. Это и была Ольга Захаровна, небольшого роста, еще очень бодрая, несмотря на свои 75 лет, типичная украинка с добрыми серыми глазами.

Как родного приняла она моего спутника, друга ее покой-

ного мужа, и ласково заговорила со мной, узнав о цели поездки.

Едва мы сели на диван, как в соседней комнате зазвенела посуда, и мы по предложению хозяйки встали и очутились в столовой, за накрытым столом, уставленным всевозможными наливками.

– Это что! – глубоко вздохнула хозяйка. – Разве теперь у нас в Малороссии живут? Да разве так было прежде? А вы удивляетесь на наливки! Чего-чего, бывало, на стол-то не наставят! Да и водки-то какие были, все перегонные: и на анисе, и на тмине, и на мяте, и на зверобое, и зорные от семидесяти болезней, и на ягодах, и на фруктах, и на цветах разных. Да и пили-то разве так? Пили и никаких катаров не знали!

– А вы, Ольга Захаровна, хорошо помните Гоголя? – спросил я.

– Эге ж! Часто и я у них в Яновщине бывала, и он к нам с матушкой своей и сестрицами в гости ездил. Моложавая была Марья Ивановна, матушка его! Бывало, принарядится – так моложе дочерей своих выглядывает. Она пережила своего сына знаменитого. Да, Николай Васильевич большую память о себе оставил, большую! А кто тогда думал! Смирный, тихий был. Сядет за стол, бывало, опустит голову, слушает, что говорят, да изредка нет-нет да и взглянет. А если кому что скажет – как ножом обрежет! Вот с парубками да с дивчатами – другой совсем: веселый, песни поет.

Ольга Захаровна оживилась и, по-видимому, с удоволь-

ствием вспоминала далекое былое.

– Бабушка у меня была, – продолжала она, – Софья Матвеевна Аксюкова. Та хорошо по-украински говорила, а Николай-то Васильевич хуже говорил, так он к ней часто ездил поговорить. Кроме того, бабушка знала множество рассказов и преданий из старины, из гетманщины, и сколько она рассказывала Гоголю! Подолгу беседовали, бывало, они. Все это я помню, хорошо помню: молода была тогда и всем интересовалась. Боялись его многие! Ужинать с ним боялись. Вот какой случай был. Собрались раз у одного помещика гости. Приехал сосед, помещик. Этот сосед, большой гастроном, любил больше всего голову коропа-рыбы. Никому, бывало, ее не уступит. Сказал хозяин гостю, что у него за ужином будет короп. Гость весь вечер только и думает, скоро ли ужин, скоро ли коропа подадут! Сели все за стол – вдруг дверь отворяется, и входит Николай Васильевич. Уж он тогда многое написал, все его знали у нас. Пришел, а некоторым ужин не в ужин. Мне уже много после сам гость рассказывал так:

«Вошел, поздоровался да и сел, да на грех рядом со мной. Пошевелиться боюсь – вдруг опишет! Кусок в рот не идет. Подают коропа: жирный, зарумянился, головастый. А я дотронуться боюсь, как на иголках сижу. Так ведь и не ел я, и голова осталась. Дождался конца ужина, да и бежать. Приезжаю домой и спрашиваю у жены ужинать, а та удивляется, как это из гостей да голодный приехал. Ну, и объяснил я ей, что Гоголя испугался». Вот какой был Николай Васильевич.

– А где родился Гоголь? – спрашиваю я.

– Здесь, в Сорочинцах, в доме Трахимовского, близ Преображенской церкви. Там его и окрестили. А Трахимовский был знаменитый на всю округу доктор, к нему много даже из других губерний больных съезжалось. При доме был у него флигелек для приезжих больных, где они останавливались. Вот в этом-то самом флигеле в две комнаты я много раз бывала, и Марья Ивановна остановилась да тут и разрешилась благополучно сынком. В этой же церкви его и крестили. Это мне и сама Марья Ивановна рассказывала, да и все знают.

– Не помните, не говорили вам, какого числа он родился?

– Нет, не упомяну.

– Это мы справимся в церковном архиве, если его здесь крестили, – сказал М.В. Домбровский.

И мы решили отсюда отправиться в церковь, но снова заговорились.

– Скажите, Ольга Захаровна, любили здесь Гоголя, после того как его произведения появились в печати?

– Далеко не все. Кто попал к нему под перо, те не любили, вот как не любили! Особенно миргородские чиновники ненавидели: ведь весь «Ревизор» с них списан.

– А вы помните тех лиц, с кого он писал?

– Двоих лично знала: городничий списан с миргородского городничего Носенка, а почтмейстер – с почтмейстера Мамчича. Умерли оба. Смешной этот Носенко был: худой, длинный, чудак такой. А Мамчич – стариком уж я его помню –

бритый, седой, на клиросе пел. Все тогда себя узнали: портреты верные были.

– А какой самый лучший портрет Гоголя?

– Изменчивый он был лицом, и все портреты похожи. А самый лучший, самый похожий все-таки в Яновщине, у Н. В. Быкова. Вы помните, – обратилась хозяйка к Домбровскому, – в гостиной висел, в черном, с золотой цепью на шее? Да, это – лучший портрет, все говорят. Он работы Моллера, и снимков с него нет, ни одного напечатано не было. Там, рядом с портретом, есть еще гравюра с Рафаэля «Преображение господне», подаренная Гоголю в Риме профессором Иорданом. Интересна судьба этой гравюры. В Яновщине никто не знал о ее существовании. Она валялась в хламе, на чердаке. Вдруг пришло письмо из Москвы, кажется, от покойного П.М. Третьякова – наверно не помню, с просьбой продать эту гравюру, а о ней никто и не знает! Стали искать, искать и нашли на чердаке, подмоченную, попорченную.

Я посмотрел на Ольгу Захаровну. Она, видимо, утомилась, и мы, поблагодарив гостеприимную хозяйку, дорогую современницу Гоголя, откланялись и направились в дом, где родился Гоголь.

В гоголевские времена дом принадлежал доктору Трахимовскому, потом был продан помещику Чарнышу, а потом Александренку, и от него уже приобрел его настоящий владелец, становой пристав П.М. Ерьско.

Шагая по глубокому снегу, мы добрались до Преображен-

ской улицы, и М.В. Домбровский указал мне на маленькую, крытую железом мазанку, белевшую сквозь деревья сада.

– А вот и дом, где родился Гоголь. Зимой он заперт: владелец в нем живет только летом, а теперь П.М. Ересько обитает вот в этом большом, куда мы с вами и направимся, – сказал М.В. Домбровский.

Домовладелец – пожилой, небольшого роста господин, одетый в форменную тужурку, живой, энергичный, несмотря на изрядную седину. Он встретил с распростертыми объятиями М.В. Домбровского, который что-то ему сказал на ухо, после чего хозяин весьма любезно попросил нас в гостиную, где на столе моментально появились всевозможные наливки, которыми Павел Моисеевич славился на все Сорочинцы.

П.М. Ересько двадцать лет служил в Сорочинцах. Дом он приобрел уже несколько лет, и гоголевский флигель сохранил в том же виде, каким он был девяносто лет назад. Только крыша железная, а остальное все осталось по-старому, если не считать небольшой пристройки, сделанной к флигелю сзади.

Флигель был обыкновенная, чисто побеленная мазанка с дверью посередине. Дверь вела в большую комнату с глинобитным полом, в правом углу которой стояла большая печка, а рядом с ней – дверь, ведущая в пристройку. Налево – дверь в комнату, где когда-то доктор Трахимовский располагал своих пациентов и где родился Николай Васильевич Гоголь.

Нет ни Трахимовского, нет ни Гоголя, ни лиц, с которых он рисовал свои незабвенные типы, а стены домика, слышавшие первый крик великого писателя, были целы.

Особое, совершенно особое чувство благоговения испытывал я в этой чисто выбеленной комнате с четырьмя окнами, два – по одной, два – по другой стене.

Пробыв несколько минут, мы вышли на большой двор, где осмотрели, между прочим, замечательно прочный подвал, сухой, чистый, оставшийся со времен гетманщины. Подвал этот принадлежал гетману Малороссии Даниилу Апостолу, а из подвала существовал подземный ход, ведущий до церкви, которая была выстроена Даниилом Апостолом. А когда она строилась, Апостол, по преданию, по ночам собирал рады в строящемся здании и сам являлся на эти рады через этот ход.

Поблагодарив любезных хозяина и хозяйку за гостеприимство, мы направились к священнику Преображенской церкви отцу Севастиану Павловичу. Было совершенно темно, когда мы подошли к его дому.

Отец Севастиан более десяти лет тому назад разыскал запись рождения Гоголя, прочел ее и опять положил книгу в архив, и с той поры, по его словам, книги никто не видал и не спрашивал.

– Кроме меня знал об этом наш старый священник, отец Роман, но ему на девятый десяток, и он слаб: сегодня я его соборовал. Плох уж стал старичок, а еще помнит все!

Я обратился к священнику за разрешением посмотреть

метрические книги за 1809 год, на что получил согласие, и мы отправились в церковь.

Это одна из древнейших церквей Украины, сооруженная Даниилом Апостолом. Церковь была о пяти главах, отделанная лепною работой и освященная вскоре после его смерти, 6 апреля 1732 года. Здесь было много старинных икон. В церкви обращал на себя внимание старинный резной из дерева иконостас замечательно тонкой, художественной работы.

Священник открыл архивный шкаф и вынул старую, но хорошо сохранившуюся метрическую книгу о родившихся за 1809 год. И здесь, в середине книги, на правой странице, внизу, старинным твердым почерком было написано: «20-го марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го марта. Восприемником был... господин полковник Михаил Трахимовский... молился и крестил священнонаместник Иоанн Белопольский». Отец Севастиан выдал мне по моей просьбе форменную, с церковной печатью, выпись из метрической книги.

На другой день, рано утром, я гулял по Миргороду и глубоко сожалел, что теперь зима и все занесено снегом, и не видно даже знаменитой лужи, про которую у Гоголя сказано: «Удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее!»

Мне тогда сказали миргородцы, что лужи этой больше не существует и что на месте ее разбит городской сквер, а что луж есть несколько и есть такие же большие, к великой радости гусей и свиней, может быть, идущих по прямой линии от той супоросной бурой свиньи, которая стащила и съела очень важную казенную бумагу из суда.

Видел я еще то, чего не было в доброе старое время: видел я казенную винную лавку, около которой стояла толпа миргородцев и пила из горлышка водку, закусывая снегом, а то и ничем, и запах от этой толпы напомнил мне тот момент в поветовом суде, когда Иван Никифорович со своей просьбой застрял в двери, и «тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, причем канцелярский чиновник и его помощник – инвалид от дружных усилий дыханьем уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом». Такой же запах был от толпы близ винной лавки, находившейся в переулке, напоминавшем тот «переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они не могли уже разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону, на улицу».

Таковым был Миргород зимой, Миргород, прославленный Гоголем, и весь этот край, где каждое место напоминало Гоголя, – край, который смело можно назвать «Гоголевщи-

ной».

Каждое правдивое слово о великом писателе, характеризующее и его и ту обстановку, которая послужила для его творчества, всякое подобное сведение есть уже ценность, которая должна принадлежать всем.

Это обстоятельство заставило меня сделать еще целый ряд поездок в Гоголевщину, тогда я старался главным образом обращаться к тем современникам поэта, которых никогда и никто не расспрашивал и которые без всякого желания рисовки правдиво поведывали мне то, что сохранилось в их памяти, нередко даже выказывая удивление, зачем у них спрашивают такие неинтересные, по их мнению, вещи.

* * *

Поведаю, о чем могу, в том порядке, как это видел я во время пути, который был хорошо известен Гоголю. Собрав материал по воспоминаниям о Гоголе, мне пришлось волей-неволей остановиться и на настоящем этих мест, сохранивших те черты, которые известны читателям Гоголя.

Все эти места поэтому и назвал я одним словом: Гоголевщина.

Не будь Гоголя, разве говорили бы о них? Разве говорили бы об Украине?

Конечно, говорили бы... А Полтавский бой? Разве он не прославил страны?..

Да, были герои-победители... Об этом свидетельствуют могилы, дела рук героев...

А после них прошли два мирных человека с записными книжками в руках, один обессмертил Полтаву в чудных стихах, а другой заставил весь мир полюбить милую, симпатичную Украину...

Ни Полтавы, ни Украины без них не знали бы...

От героев меча остались могилы, от людей – слова, правда и любовь.

Выехал я из Полтавы по исторической диканьской дороге и, проехав почти с версту, невольно оглянулся назад.

Украинская красавица, утонувшая в садах и тополевых аллеях, изменилась. Впереди раскинулись широко, широко поля, ярко-зеленые озими с желтыми оазисами, хуторскими садочками, золотом отливающими при ярком блеске сентябрьского солнца.

Резкой полосой прорезает изумрудную зелень черная дорога, по которой когда-то ездил Гоголь...

А ранее, еще ранее на этих полях, спокойных, изумрудных полях

Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча,
Бросая груды тел на груды;
Шары чугунные повсюду

Меж ними прыгают, разят,
Прах роят и в крови шипят...

.....

Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон.

Ужасное было время, и напоминают о нем эти зеленые курганы по сторонам дороги.

И воздвигла эти курганы прихоть и жажда славы одного человека...

Мне представлялось: вон там, в балочке, двое бледных, испуганных всадников боязливо скачут по очеретам...

Нет уж давно-давно их сначала молниеносных, потом испуганных взглядов, полных отчаяния, нет уж их грозного воинства – ничего не оставалось на этих полях, кроме поросших травой могил, а поля все неизменны, свежи, зелены...

Да осталось еще народное название местности по дороге, характеризующее то время, а название это – Побиванка.

А за Побиванкой – Петрова долина, а дальше – Переруб, а там – и Диканька.

Вот при въезде – аллея из дубов, таких пятиобхватных да угрюмых, каких на свете, пожалуй, не увидишь.

Это те самые дубы, о которых Пушкин сказал:

Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных

Доныне внукам говорят.

А за дубами – Диканька с ее великолепным дворцом, окруженным парком, сливающимся с дубовыми лесами, в которых водились даже стада диких коз.

Я целый день провел в этом лесу, октябрьский солнечный день.

Тишина поразительная. Ни лист, ни веточка не шелохнут-ся. Если только смотреть на солнце – переливается в воздухе прозрачная, блестящая паутина между тонкой порослью, да если прислушаться – зашелестит на миг упавший с дерева дубовый лист. Земля была устлана плотно прибитыми накануне дождем желтыми листьями, над которыми стоят еще зеленые, не успевшие пожелтеть и опасть листья молодой поросли. Ни звука, ни движения. Только лапчатый кленовый лист, прозрачно-желтый на солнце, стоит боком к стеблю и упорно правильным движением качается в стороны, как маятник: то вправо, то влево. Долго он качался и успокоился только тогда, когда оторвался, зигзагами полетел вниз и слился с желтым ковром... Да еще тишина нарушилась двумя красавицами – дикими козами, которые быстро пронеслись мимо меня и скрылись в лесной балке... И конца-края нет этому лесу. А посреди него – поляны, где пасутся табуны... Вот Волчий Яр, откуда открывается внизу далеко-далеко необъятный горизонт, прорезанный голубой лентой Ворсклы, то с гладким степным, то с лесистым обрывистым бе-

регом...

Великолепны окрестности Диканьки и великолепен дворец, в котором между драгоценностями хранилась в дорогом шкафу рубаха Василия Кочубея. Простая белая рубаха с пятном крови. После казни в Белой Церкви рубаха Кочубея досталась его родственникам и до последнего времени хранилась в церкви в селе Жуках. Несколько лет тому назад в Жуках ожидали архиерея, объезжавшего епархию, и попадья, решившая, что не подобает владыке видеть окровавленную рубаху, вымыла ее, но все-таки кровь отмыть не могла. Тогда владелец Диканьки, В.С. Кочубей, взял эту реликвию к себе и устроил ей помещение в своем дворце.

Сзади дворца – сад, а еще дальше, за прудом, и село Диканька, где кузнец Вакула так расписал свою хату, что приезжавший блаженной памяти архиерей даже спросил:

– А чья это такая размалеванная хата?

Та самая Диканька, где жил дьяк Фома Григорьевич, «кажется, и незнатный человек, а посмотреть на него – в лице какая-то важность сияет; даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение; в церкви, когда запоет на клиросе, – умиление неизобразимое».

Прошел я из дворца и парка в Диканьку, для скорости пути едва пролезши в какую-то дверь в заборе, перешел мостик и стал подниматься в гору, к Троицкой церкви, которую расписывал Вакула и в которой Фома Григорьевич дьяком был.

Остановился против церковной ограды у хаты, а на воротах написано: «Петр Андреевич Зеленский».

– Чья хата? – спросил я подошедшего человека, не молодого и не старого.

– Хата была Петра Андреевича, дьяка, а как он умер, так перешла к новому дьяку, его преемнику. То был дьяк!

– Вроде Фомы Григорьевича?

– Вроде Фомы Григорьевича, да еще почище. Почтенный был, все молчал, да слушал, да табак с такой важностью нюхал, что шапку – увидишь – скинешь. А как на клиросе пел! По-старинному и даже невольно умилительно. А выпить мог – уму невообразимо. Бывало, праздником пьет, пьет – и не узнаешь. А как запоет «Волною морскою», да вскочит, тряхнет плечами, да гикнет, и пойдет, и пойдет!.. Вот это был дьяк. Больше пятидесяти лет здесь прослужил.

Шли мы по диканьским улицам, и все мне мой спутник рассказывал, и видно, что читал всего Гоголя.

– А вот и Вакуленко, – указал он мне кузницу.

Я поинтересовался:

– А что, все у вас так же, как вы, Гоголя знают?

– Да, Диканька должна знать и знает Гоголя, у нас неграмотных, кажется, совсем нет. Диканька – это Гоголевщина... Как же нам не знать его.

В тот же день я выехал из Диканьки в Яновщину. Вот балка Пустовидка. Здесь когда-то сидел разбойник Пустовид. Вот Зозулина балка. Вот Дьячково. Вот хутор Задорожный. Владельцем его был казак Григорий Ефимович Задорожный, старейший в округе. Еще во времена Гоголя он был церковным старостой в Яновщине, и после каждой церковной службы Мария Ивановна Гоголь приглашала его в дом.

– Хорошая была. Бывало, у меня в церкви разменяет десять рублей и все раздаст бедным. А паныч (Гоголь) еще добрее был. Помню, раз при мне говорил Марье Ивановне: «Смотрите, чтобы не обижали людей». Приедет, бывало, поговорит с народом ласково-ласково. Добрый паныч был.

От Задорожного я заехал в Невенчанную балку; балка эта на десяток верст по странной случайности искони была вся населена холостяками-помещиками, записывавшими своих многочисленных детей к себе же в крепостные. Приехал на хутор, которым владели братья Мироненки.

Мироненки были уже пожилые люди, родные братья. Жили они и прежде бедно, а потом умер их богач дядя Шафранов и оставил им имение и деньги. Стали они делить такое богатство. Крупное поделили, а на мелком поссорились. Не поделили старую молотилку. И стоит она, гниет на дворе у обоих на глазах, чтобы никто пользоваться ею не мог. Стар-

ший брат Иван Иванович соглашался продать молотилку и деньги поделить и даже пожертвовать на школу, а младший Петр Иванович уперся и говорит:

– Нехай она сгниет! Або моя, або хай сгниет!

И поссорились из-за молотилки и друг друга видеть не желали и знать не хотели. Живут, будто и знакомы не были.

Великий Гоголь провидел этих двух братьев, которых так живо изобразил в Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче.

Я заехал в дом к Ивану Ивановичу, который жил вдвоем с сыном своим Спиридоном Ивановичем; оба хорошие хозяева и аккуратные люди. Иван Иванович очень интересовался стариной, много помнил и прекрасно рассказывал. Даже стихи на украинский язык переписывал. Я предполагал найти у него что-нибудь о Гоголе, но нашел только кипу старинных, еще блаженной памяти поветового миргородского суда, дел да несколько купчих крепостей на продажу людей. Живых людей... Ужасные документы, по которым живые люди переходили от одного владельца к другому, дети отнимались от родителей.

– Интересное имя в одной купчей упоминается, – сказал мне хозяин, – это Гришко-Горишевский. Он из села Устивиц, из-под Сорочинец, и я сам оттуда. Так этот самый Гришко-Горишевский – его уж я не помню, дед мне про него рассказывал – был сотником и принимал к себе всех разбойников и майданщиков.

– А что такое майданщики?

– А которых закуция на майдан посылала.

– Не понимаю.

– Закуция? Да это экзекуция, власти. Закуция состояла из головы, сотского, десятского писаря и добросовестного.

Идут они всей партией выколачивать подушное. Если не платит кто подушного в первый раз – арестуют. Если не заплатит во второй раз, а уже в тюрьме сидел, достанут сажи, натолкнут ее, помешают с водой – да и давай ляпать по стенам и по одежде, по чем попало. И водят за собой тех, кого измажут. В третий раз берут недоимщика и ведут на большую дорогу, на перекресток. А на перекрестке лежат сваленные длинные дубы, и надолблены в тех дубах дыры. И вот в дыру на дубе вставляют ногу неплательщика и прибивают ее брусом: вынуть нельзя. Много народу насадят и держат трое-четверо суток, даже зимой. Это называлось «на дубу».

В четвертый раз неплательщика забирают и ведут к дубу. А у дуба – ямы глубокие, над ямами перекинута жердочка, а через жердочку перекинута прутяная плетня. И вот в эту яму насадят битком недоимщиков, а затем навезут воды, и ходит «закуция» по плетням и поливает холодной водой тех, которые сидят в ямах. И продолжалось это от трех до пяти дней.

А уж если это не помогало, пороли жестоко и отправляли, пока не заработают подушного, на селитренные заводы на майданщину.

Так поступали с казаками.

Майданы были повсюду вокруг. Работа каторжная, каторжные порядки. Майданщик – было ругательным словом, уцелевшим и до меня. Единственный исход для майданщиков был побег в Таврию, или в донские и днепровские гирла, или к Гришко-Горишевскому.

В то время в Устивицах, близ села Сорочинец Миргородского уезда, у него было большое имение. И стоял на сорочинской дороге столб, а в столбу проверчено шесть дырок. Это были условные знаки, которые понимали только те же майданщики.

Означали эти шесть дырок, что беглые, явившиеся в Устивицы, получают шесть лет панщины, если запишутся к Гришке в «пидсусидки», а через шесть лет переходят с потомством в крепостные: а бежать от Гришки было нельзя: у него были злющие-презлющие собаки, которые разрывали каждого прохожего. А ударить ни одной собаки нельзя: кто ударил – сам пропал.

Передававший это со слов своего деда родился в тех же Устивицах.

О себе Иван Иванович рассказывал так:

– Боялись мы школы. Учились мы в конюшне у попа. Учился со мной рядом же и теперешний кременчугский врач В. Сидим мы в конюшне на бревнах да и выглядываем из оконца – кто идет, а сами читаем: «Един бог во святой троице». Вдруг поп выхватит у кого-нибудь из рук книжку да велит продолжать наизусть. А чуть ошибся – линейкой по ще-

ке. Во с какими мордами ходили. А то раз спрашивает меня:

– Скилки було Ноев?

– Один, – говорю я, – праведный Ной.

– А як же Америка взялась? – Да по морде линейкой.

От И.И. Мироненка я выехал в Яновщину, чтобы пови-
дать гоголевские места, сестру Гоголя, О.В. Головню, и стар-
шего в роде Гоголей – Н. В. Быкова.

Не могу не сознаться, что в Яновщину ехал я с сердеч-
ным трепетом. Даже решил, что и заходить к владельцам не
буду, постараюсь их не беспокоить, так как я слышал уже
о том, как надоели им всевозможные интервьюеры и кор-
респонденты с фотографическими аппаратами и записными
книжками, обладатели которых заносят каждое слово о Го-
голе, сказанное тем даже, кто, живя на Украине, и понятия не
имеет о Гоголе. Эти пилигримы страшно надоели владель-
цам Яновщины, и я не хотел уподобляться им, да и вообще
думал там найти мало интересного: надоело людям отвечать,
будут повторяться, говорить нехотя...

Вышло наоборот.

На подъезде расположенного в саду дома Н.В. Быкова я
встретил хозяйку дома и попросил разрешения только прой-
тись по гоголевскому саду, на что получил разрешение, и,
откланявшись, назвал свою фамилию.

Меня попросили в дом. Оказалось, что Н.В. Быков знал
меня по моим работам, а супруга его Мария Александровна,
внучка А.С. Пушкина, слыхала обо мне от своих родствен-

ников, с которыми я был давно знаком.

Приятное разочарование: думал посмотреть сад, предполагал встретить сухой прием, не добыть ничего интересного, а оказалось, что весь-то интерес и был здесь.

Нашлась сотня общих знакомых, пошел разговор такой, будто встретились друзья после долгой разлуки.

Оказалось, что Н.В. Быков сам интересовался до мелочи всем, что касалось его гениального дяди, и сам владел еще многими интересными реликвиями, кроме тех, которые им уже ранее были пожертвованы в Румянцевский музей.

Передо мной раскрылся целый музей реликвий, рассмотрению которых я посвятил день и почти всю ночь. На другой день я посетил сестру писателя, Ольгу Васильевну Головню, и застал ее в то время, когда она только что вернулась с паеки из Яворщины, верстах в трех, в степи, где когда-то любил бывать и Гоголь.

Любимым местом для прогулок Гоголя была Яворщина, где когда-то был старый дубовый лес, а также и Стенка (или Стенька) – урочище в пяти верстах от Яновщины, принадлежащее Н.В. Быкову. Гоголь часто ездил в Стенку – это лес, спускавшийся по обрывистому берегу Голтвы. Место весьма красивое, поэтическое. Здесь он задумал свое «Заколдованное место».

Ольга Васильевна была еще бодрой старушкой, интересующейся хозяйством и деревенской жизнью. Она плохо слышала, но любила поговорить о прошлом, хотя ей это было

довольно трудно, почему я не позволил себе беспокоить ее расспросами, ограничившись тем, что осмотрел гоголевские вещи, о которых в свое время писал в газетах.

* * *

Хорошо в Яновщине! Кругом степь, прорезанная балками, усеянная хуторами с тенистыми садочками.

Прямо от церкви начиналась степь. Подле церкви, между церковью и плотиной, которая разделяла два пруда и которая когда-то была усажена старыми-престарыми вербами, четыре раза в год собиралась ярмарка. Ее-то, говорят, Гоголь и описал и назвал ее «Сорочинской» потому, что Сорочинцы были известны по всей округе, а Яновщину в те времена и не знал никто. Какая, мол, такая ярмарка в какой-то Яновщине! Вот в Сорочинцах так ярмарка!

Назови Гоголь ярмарку не Сорочинской, которая знаменита, а Яновщицкой – и тоже б подняли на смех.

Вот по тому же самому Гоголь и назвал свои рассказы «Вчера на хуторе близ Диканьки».

Диканьку все знают. После Полтавы там это самое крупное имя.

А тут еще приглашение: «Когда кто из вас будет в наших краях, то заверните ко мне: я вас напою удивительным грушевым квасом». Так приглашал пасечник Рудый Панько.

Да я сам лет 35 тому назад знал уже Диканьку и всей ду-

шой стремился туда, где

Богат и славен Кочубей,
Его луга необозримы...

стремился посмотреть и хутор близ Диканьки, где Рудый Панько рассказывал такие страшные вещи, и посмотреть Полтаву и Побиванку, где побили шведов...

И вот только через 35 лет после первых моих мечтаний передо мной самый хутор близ Диканьки, дом, осененный деревьями, которые сажал сам Николай Васильевич Гоголь и отец его Василий Афанасьевич.

Это была новая усадьба Гоголей, принадлежавшая старейшему в роде их Н.В. Быкову.

Меня встретила группа детей. В них уже слились три фамилии. Это – Быковы, Гоголи и Пушкины.

Н.В. Быков был женат на дочери Александра Александровича Пушкина – сына Александра Сергеевича. Дети у Быковых росли в том саду, который сажал Николай Васильевич Гоголь, их дед.

Странно посажен сад на берегу пруда – только одна аллея, а там – все вразброс.

Таково было желание Гоголя. Он не любил симметрии.

Он входил на горку или просто вставал на скамейку, набирал горсть камешков и бросал их: где падали камни, там сажал он деревья. До того времени на месте сада был большой

дуг, и на нем-то Николай Васильевич образовал этот чудесный тенистый сад.

Впрочем, когда я был в Яновщине, сад не был тенистым: клены, любимое дерево Гоголя, уже облетели; уцелели листья на двух его также любимых деревьях: желтые, золотые при свете солнца – на липе и темно-зеленые, кожистые – на дубе.

Гоголь любил и сажал только три этих дерева.

Осень была ясная, солнечная. Осенний сад на меня не произвел впечатления умирающей природы, нет! Это природа освежается перед сном чистым воздухом, она умоется холодными, здоровыми дождями, а затем под белоснежным одеялом уснет, чтобы проснуться свежей, полной жизни, готовой к деятельности, прекращенной зимой во время сна.

Я люблю осень с ее особыми, яркими тонами, с ее бодрящим воздухом.

Хорошо в саду в такую осень!..

Особенно было хорошо в гоголевском саду: с большой аллеи переходишь поперек сада длинной, узкой, извилистой дорожкой.

Эта дорожка неправильной линией разрезает сад: налево – пруд, а направо – дом.

На одной из полян сада, около дубков, красивый курганчик с густым сиреневым кустом, увенчивающим его вершину.

По поводу этого кургана ходила легенда.

Один из заезжих собирателей преданий разговорился с жившей у Быковых старой няней, Маланьей Дригой, которая еще хорошо помнила «паныча». Разговорился этот собиратель с няней и с ее слов, с добавлением своего, записал, что здесь, под этим самым курганом, Гоголь зарыл свои рукописи.

И пошла ходить легенда.

Говорил и я с няней.

– Так зарыл Гоголь бумаги в курган?

– Брат мой говорил, что когда паныча спросили, зачем это в саду горку делает, так он ответил: «Чтобы меня вспомнили».

– А видел брат твой или кто-нибудь, что паныч клал туда бумаги?

– Ни, только так говорили. А может, и нет; тогда голод был, так паныч хлопцев собирал: они ему землю таскали на горку, а он им платил; и брат мой хлопцем был, тоже работал.

Такова была история этого кургана в саду. Вся легенда о бумагах была ложь. Гоголь, видимо, помогал в голодный год, давая эту помощь в виде оплачиваемого труда.

По ту сторону пруда находилось место старой усадьбы Гоголя, но она оказалась не в таком виде, какова была при жизни Гоголя: усадьба была перестроена вся заново, даже не были сохранены места старых построек, сад наполовину вырублен. От любимых Гоголем прямой аллеи и кленовой площадки сохранилось: от первой – только половина одной стороны,

а от кленовой площадки – только два клена. На берегу пруда доживали гигантские пни столетних дубов, своей тенью покрывавшие в былые времена всю полянку, где когда-то Гоголь любил сидеть на берегу пруда.

Кроме сестры Гоголя, Ольги Васильевны, из современников его в Яновщине жили несколько человек, бывших в то время детьми, а из служивших Гоголю – только двое, супруги Юрченки: Петр – повар и Настасья – горничная Марьи Ивановны. Я видел их. Это были такие ветхие старики, каких я никогда нигде не видал. Они доживали свой век в маленькой хате. Я их застал, когда они, едва-едва двигаясь, выползали из хаты погреться на солнышке. Они при моем приезде остановились у порога, такие согнутые, скрюченные да сморщенные, будто в землю вросли. А волосы у обоих были целы, зато глаза плачут, еле смотрят, особенно у старика: это сказались десятки лет у плиты. Оба они мне напомнили старые деревенские хаты, вросшие в землю, с растрепанными, облезлыми соломенными крышами, со слезящимися, тусклыми окнами. И они такие же! У старухи еще глаза более живые, но зато лицо – совершенно печеное яблоко: кожи гладкой нет, одни сплошные морщины.

О Гоголе они мало помнили и ничего интересного не сказали.

Я припомнил им один факт из гоголевских времен, слышанный мною ранее. В Яновщине был священник отец Капустянский. В день св. Пантелеймона, или, как называют здесь

этот день, «на Паликопу», работать не полагается, так как, по преданию, если хлеб убран в этот день, то его сожжет молнией.

И вот однажды в день св. Пантелеймона священник отец Капустянский увидел крестьян, которые везли возы хлеба. Он выскочил с восковой свечкой, зажег возы с хлебом, а испуганные волы бросились в село и спалили хаты.

Своевременно это дело было в консистории, но не получило хода.

Вот и спрашиваю:

– Помните, старики, как поп на Паликопу спалил возы?

– Эге... Як же... Це пип Капуста... Це вин спалив, выскочил со свечой и спалил... На Паликопу було...

И, рассказывая подробности, оба они оживились, перебивали друг друга.

А потом смолкли, потускнели и замерли, потратив последние силы на рассказ о том, что было им близко и хорошо сохранилось в памяти.

* * *

Я объехал все места, где бывал Гоголь, и как мало осталось тех, кто его помнил! В Кибенцах, имении Трощинской, и в Миргороде – никого. В Шишаке современница Гоголя, г-жа Е.П. Петрова, указала только на один интересный факт. Мать Гоголя, Марья Ивановна, приехала в Миргород по де-

ду в поветовый суд, после того уже, как появился рассказ об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Миргородские чиновники были так злы на Гоголя, что Марье Ивановне не предложили сесть, и она простояла часа два, пока не получила нужную справку.

В Б. Сорочинцах жила М.Н. Кульбовская, хорошо помнящая Гоголя. О встречах с Гоголем Марья Никитична рассказывала с большой радостью. Видно, что эти воспоминания – лучшие в ее жизни. В первый приезд Гоголь был один, а во второй – совершенно изменился.

О первой встрече Марья Никитична говорила так (записано стенографически):

– Это было в 41-м году. Марья Ивановна гостила у Трахимовских, а он и приехал, и пробыл больше недели. Дом, где я жила, был рядом с Трахимовским, и мы друг у друга постоянно гостили, и сразу, в первый день, познакомились с Гоголем. Любезный, приветливый, веселый! Как чудно говорил! Читал нам всем по вечерам... Не помню сейчас, что именно... Да никто не спрашивал, записать не догадались... Помню, вечером как-то сидим мы дома, а Гоголь пришел к нам, да и говорит: «Что тут засиделись, пойдем к Трахимовским!» И пошли; и танцевали вечером кадрили, и он танцевал, но только путал фигуры... Много смеялись... Тогда он мне в альбом институтский стихи написал, не помню какие: альбом в шестидесятом году сгорел во время пожара...

Самой разговорчивой и памятной современницей Гого-

ля явилась Марья Григорьевна Анисимо-Яновская, состоящая даже в дальнем родстве с Гоголями.

Я разыскал ее в Полтаве на Монастырской улице в доме Харитоненко. Она жила в маленькой, чистенькой квартирке, где я просидел у нее часа два. На мой вопрос о Гоголе Марья Григорьевна сказала:

– Помнить-то я его, конечно, помню. Только мы, дети, прежде на него внимания не обращали: молчаливый такой, угрюмый, ни с кем не говорит, поест и уйдет в свою комнату. Я часто бывала в Яновщине, а звука голоса Гоголя не слыхала. Помню, последний раз, мне было лет десять, видала я его в Яновщине. Он был бледный, волосы длинные, и глаз за обедом не поднял, поел немного и ушел. С тех пор я его больше и не видала. Уж после его смерти жила я долго в Яновщине; тогда Кулиш приезжал, бумаги разбирали... А ведь и не думал никто! После уже, читая его сочинения, мне многое стало ясно, с кого он писал. Впрочем, я не любила его читать: ничего для меня нового, написал то, что я сама знаю, что каждый день вижу, или уж выдумки вроде Вяя. Ну, что это такое? Гоголь все это от старых баб взял: те все про ведьм да вовкулаков, бывало, нам страсти рассказывали. А какие ведьмы? Их нет. Помню, приезжал к нам дядя родной, брат отца... Отец мой был военный, заслуженный, потом разжалован из офицеров был, а там снова на войне отличился, и ему корнета дали. Тогда он вышел в отставку. Смелый был! А дядя еще смелее. За обедом раз мать жалуется отцу, что

ведьма наших коров по ночам выдаивает, к утру никогда молока нет, что прислуга даже видела ведьму у коров. А коровы стояли над балкой, в загоне. Ну, дядя и говорит отцу:

– Ходимо, застукаем ведьму!

И пошли. Спрятались под дерево около загона и ждут. Вдруг в самую полночь из балки лезет она, вся в белом, волосы распущены, то собакой ворчит, то свиньей хрюкает. Отец испугался, молитву творит, а дядя выскочил да ведьму за косу. Та на него собакой лаять... А дядя кричит отцу:

– Сейчас ей уши и нос обрежу!

Да и вынул кинжал. Ведьма на колени. Посмотрели – соседка наша, казачка, целый год наше молоко ела!.. Вот они, ведьмы-то, какие!.. Вот и Вий тоже – бабьи рассказы. Не люблю я этих хвантазий у Гоголя.

Марья Григорьевна закурила папироску и еще раз повторила:

– Не люблю этих хвантазий! А вот чиновников да помещиков описывал хорошо. Я сама помню, как в Миргороде чиновники жили, получали два рубля в месяц и на службу из дома шли босиком по миргородской грязи; придут, обуются в сенях – и в суд... Ось, як воно було! А важничали чиновники! Из последних сил тянулись, все богатство свое показывали. Жаль, что их Гоголь не всех знал, а то много бы еще написал. Был один у нас чиновник такой, сосед наш в Полтаве, три рубля в месяц получал, а вел себя богатеем: одежда – ни пылинки, сапоги – как зеркало, манишка – снеговая...

Каждое утро, бывало, сядет у открытого окна с папироской, с газетой и ложечкой в стакане помешивает. Товарищи идут на службу и зовут его, а он отвечает: «Прочитаю газету, напьюсь чаю и приду». А какой чай? Квас-сырец за копейку кувшин купит, нальет в стакан да ложечкой и мешает... А газета старая – с чердака достал. И вот едва этот чиновник на богатой не женился. И женился бы, да колокольчик все дело сгубил.

Марья Григорьевна встала, прошлась по комнате и продолжала:

– А тоже в Полтаве, в своем доме, жили два брата, помещики-миллионеры – дом их на базаре был, – а такие скупые, что по ночам поочередно открывали окна и с разных сторон по-собачьи лаяли. Один спит, другой лает... «Пусть, мол, знают, какая у нас псарня!» Их кто-то описал даже... А вот с колокольчиком писателям не попался... А було, було!

– Ну как же это было?

– А вот как! Начал этот самый фронт-чиновник свататься к дочери богатого помещика и сам себя за богатого выдавать. Забыла я фамилию-то... А знала!.. Сквозь сон вспоминаю... А жили помещики за Ворсклой... Назначили они бал и его в качестве жениха пригласили. Ну, известно, он сапоги на палку, палку на плечо – и ходу! Грязь... Осень... Подходит к Ворскле – брод, а перебраться не знает как... Едут гости вброд в бричках. Попросить перевезти жениху – себя осрамить. Так он на корове верхом переправился и прямо в сад к

ним. Вынул из кармана колокольчик – бежит и звенит, будто тройка едет. Добежал до подъезда, вошел в дом важно так... Спрашивают хозяева: «Где лошади?»

А он говорит:

– Обрато домой отправил, расковались.

Так бы и сошло, и женился бы, наверно, да одно беда, стали танцевать, а колокольчик-то из кармана на грех и вывалился. А тут хозяйский сын рассказал, как «дядя с колокольчиком по саду прыгал», а другие видели, как на корове через реку верхом ехал... Вышел скандал, драка, и жениха выгнали...

Ось як було!

И всю правду Гоголь писал, всю правду! Вот Коробочку взять... Сколько таких Коробочек было! И теперь они есть... А ту Коробочку прямо, кажется, с моей тети, Пивинской, списал... А что мысль написать «Мертвые души» взята с моего дяди Пивинского, так это я наверно знаю, и знаю, как это произошло.

– Что же, Чичикова Гоголь писал с Пивинского?

– Нет. Чичикова с другого кого-то списал, а самую мысль «Мертвых душ» дал Пивинский, это уж я достоверно знаю. Пивинские были мои дядя и тетя, у них я часто в Федунках бывала: это 17 верст от Яновщины.

Об истории «Мертвых душ» Мария Григорьевна рассказала:

– У Пивинских было 200 десятин земли и душ 30 крестьян

и детей пятеро. Богато жить нельзя, и существовали Пивинские винокурней. Тогда у многих помещиков были свои винокурни, акцизов никаких не было.

Вдруг, это еще до меня было, начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что, у кого нет пятидесяти душ крестьян, тот не имеет права курить вино. Задумались тогда мелкопоместные – хоть погибай без винокурни.

А Харламий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу да сказал:

– Эге! Не додумались!

И поехал он в Полтаву да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых... А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки да и поехал по соседям и закупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, да, кроме того, и вся миргородчина знала про мертвые души Пивинского.

Чудаки были эти Пивинские! И совершенно между собою противоположные люди: Пивинская Мария Ивановна – она родная сестра моей матери – важничала, выпяливалась, из последних кишок тянулась, а Харламий простак был! Ни на что внимания! Была у меня еще тетя, полковница Морская, муж у нее моряк был. Вот и приезжаем мы с тетей к Пивин-

ским. Выходит сам в новой чумарке, как сейчас вижу: один рукав синий, другой – пестрый, одна пола синяя, другая – красная, а спина – диванной материи с турецкими огурцами.

Мы так и остолбенели.

И говорит ему Морская:

– Как тебе, Харлампий Петрович, не стыдно таким чуе-
лом одеваться?

А он стоит, пузатый такой, смеется, говорит:

– Эге? Бачите? Добре... И ей-богу ж, гарно!

– Да стыдно...

– Абы новенько да чистенько... Гарный архалук!

И пошел к обедне.

А то раз за обедом собрались гости. Мария Ивановна подала безе. А Харлампий попробовал да как закричит на нее:

– Що се таке! Да якие чорты-батьки, чога повыдумывали!

И нема лучше, как пшеняна каша, да еще молоком прилита... А що се таке: ни во роте, ни в животе!..

И вот выдумка этого самого чудака послужила темой для бессмертного произведения.

Биографы Гоголя доказывают, что Пушкин дал ему тему для «Мертвых душ».

Нисколько не отрицая этой версии, я смею полагать, что, может быть, Гоголь в беседе с Пушкиным рассказал ему под свежим впечатлением происшествие с Пивинским и Пушкин ему посоветовал воспользоваться этим материалом. Решить, откуда тема, предоставляю более сведущим людям, а мое де-

ло было собрать о Гоголе то, что, не будь я на Украине, могло бы исчезнуть, и я рад, что помог установить более точно дату его рождения.

ШИПКА

В 1902 году исполнилось 25 лет со дня русско-турецкой войны 1877 года. Вместе со многими участниками этой войны я поехал на шипкинские торжества.

Мы прибыли на пароходе «Петербург» из Севастополя в болгарский порт Варну, откуда все участники шипкинских торжеств должны были двинуться в глубь страны, на Шипку.

Из Варны на Шипку можно было попасть с юга Балкан и с севера.

Путь с севера был интереснее. Он давал более наглядное впечатление того, что происходило на Шипке 25 лет назад.

И я выбрал путь с севера.

Пароход «Петербург» прибыл в Варну и стоял на рейде, совершенно открытый ветру, который в этот сентябрьский день, к вечеру, перешел в шторм.

Все, кто должен был ехать на Шипку с севера, на катерах и вельботах переехали на берег. Переправа была не из легких! Разгулявшееся море бросало лодочки, то скрывая их за волной, то вынося кверху. Через мол, который виднелся издали с нашего парохода, хлестала волна, сажени на две прыгая выше мола.

Большого труда стоило перевезти багаж с парохода на берег: стоять шлюпкам под бортом было невозможно, и матросы помучились изрядно. К вечеру, к семи часам, багаж все-

таки перевезли; на последней шлюпке переехал и я, решив вопреки и наперекор всему сделать переход через Балканы по пути наших войск.

Море волновалось. Вещи почти невозможно было пускать по блоку на шлюпку. Весь «Петербург» собрался на борту и смотрел погрузку. Жестоко досталось шлюпке № 1 с «Георгия Победоносца». Взволнованное море то опускало ее в бездну, то поднимало волною почти наравне с высокой палубой «Петербурга», а матросам нужно было ловить этот момент, чтобы схватить висевший громадный сундук или ящик и положить в шлюпку... Удивительные матросы! Спускают сверху сундук, только что приноровились его взять, как стоящий на корме рулевой, матрос Солнцев, душа всей шлюпки, улыбаясь, крикнет:

– Двенадцатый, погоди!..

На момент ловля сундука прекращается. Крючья упираются в борт парохода, чтобы предупредить удар, концы натягиваются, и необъятный двенадцатый вал, обливая нас всех в шлюпке пеной, поднимает ее почти до самой палубы. В это время матросы схватывают сундук – и, когда шлюпку бросает в бездну, сундук уже лежит на месте, и новый вал взбрасывает шлюпку за новым тюком кверху.

Во время одного большого броска мне канатом сшибло шапку, а одного матроса чуть не выбросило в море из шлюпки.

Нагрузка шлюпки, благодаря неловкости подающих свер-

ху, продолжалась около полутора часов. Около полутора часов матросы шлюпки держались на стороне ветра, у работающего винта, у кормового трапа парохода.

От этих матросов требовали подвига, и они его сделали, продержавшись полтора часа при таких ужасных условиях.

Если я об этом говорю, так потому, что, празднуя четверть века со времени войны, ничего не пришлось сказать о матросах, которые также отличались в турецкую кампанию, также совершали чудеса. Лично испытывая, как единственный пассажир в шлюпке, всю ловкость и смелость молодцов-матросов, я понимаю, что эти люди представляли из себя в военное время!..

Эти люди могут сделать все!

Рулевой Солнцев и его команда – потомки героев прошлой войны, и они сделают то же, что сделали их знаменитые предки.

А таких, как Солнцев и его матросы, сколько угодно! Весь флот наш таков.

Шлюпку наконец отпустили, и помчалась она к берегу по бушующему морю, мочившему багаж своими разбивающимися в брызги гребнями волн, а пароход «Петербург» двинулся к бухте из открытого рейда.

Невольно подумалось: «Что бы это сделать раньше за полчаса!»

Гребцы работают своими длинными веслами, ловя момент, когда можно поймать воду.

С парохода отдается приказание нашим матросам:

– Надеть дождевые!

Но невозможно оставить весла на момент! И обливает нас море соленой волной!

– Есть! – кричит Солнцев, взглянув на офицера с «Петербурга», неистово машущего на своем мостике двумя флагами.

– Что это?.. – спрашиваю я Солнцева.

– А еще подзывают к судну!

Как бы то ни было, но я попал на берег, в Варну, когда было темно. Схватив свои вещи, я бросился к поезду и положил багаж в коридоре.

Это было вовремя: через несколько минут поезд трогался. Прибывший на торжества генералитет занял свои места. Поезд состоял из 15 вагонов. Все новенькие, изящные, блестят.

Кругом толпы народа. Оглушительное «ура» провожало нас. Вокруг шпалерами в первой линии стояла учащаяся молодежь, то линия мальчиков, то линия девочек.

В поезде я ехал «зайцем», стоя в коридоре.

Было темно. Меня никто не опросил: русские меня принимали за болгарина, а болгары за русского, который имеет право ехать в поезде.

До полуночи по линии дороги горели костры, на станциях – толпы народа со свечками в руках, нескончаемое «ура».

Где останавливались на станциях – пели «Шуми, Марица!».

В вагоне-ресторане происходил ужин.

Как бы то ни было, но я, «заяц» экстренного поезда, ел, как волк, проголодавшись в море.

Нашлись знакомые.

Нашлось и купе – я чувствовал себя счастливым, когда положил под голову мягкую подушку и почувствовал себя пассажиром: ведь не будут же ночью паспорта спрашивать!

Проснулся в Ореховце, где поезд стоял довольно долго, и уже почетным гостем я приехал в Тырново.

* * *

Железная дорога, подходя к Тырнову, идет чудным ущельем, напоминающим дорогу из Ессентуков в Кисловодск. А дальше ряд глубоких тоннелей, где поезд погружается в глубокую тьму – в вагонах полное отсутствие света, так как в Болгарии в это время еще не освещали вагоны при входе в тоннель. Наконец, поезд вырывается из последнего тоннеля, мчится между скал по мосту над пропастью и останавливается у вокзала. Пересаживаемся в экипажи и поднимаемся в город. От вокзала до города, в городе – всюду шпалерами народ, ученики и ученицы, несмолкаемое «ура», полный энтузиазм, радость непритворная при виде русских – освободителей Болгарии.

Через некоторое время я в Тырнове, где поразила в нижней части города древняя церковь. Удивительное здание!

Где-то внизу, под скалами, вся в зелени садов, помещается церковка, существующая несколько сот лет, как-то осевшая в землю.

Внутренность – темная: стены все в древних фресках; высокие колонны, тяжелые своды – все в древневизантийском стиле.

В окнах – грубые железные решетки, напоминающие грозное и нетерпимое турецкое владычество.

Но уцелела церковка от турецкого фанатизма. Только на одно плакался мне старый болгарин, тырновский абориген, – плакался на то, что пропала драгоценнейшая священная библиотека, хранившаяся сотни веков под алтарем и пополнявшаяся постоянно. Библиотеку эту в половине прошлого столетия какой-то владыка из Константинополя разыскал, приказал вынести до последнего листа всю и всю ее сжег.

Оригинально снизу Тырново, амфитеатром прилепленное к высокой горе. Именно – прилепленное!

Оно напоминает пчелиный улей в разрезе: дом над домом! Все это близко сплочено, связано меж собой. Улицы узкие – едва разъехаться: до того слеplено.

Из Шейнова в экипажах по ущелью реки Янтры поехали в Габрово. Моим спутником в экипаже оказался художник А.П. Сафонов, тоже участник турецкой кампании, восторгается каждую минуту.

– Вот, посмотрите, посмотрите!.. – говорил он. – Ведь это чудо... Чего наши пейзажисты не едут сюда! Ведь с ума сой-

ти можно!

На пути опять шпалеры народа, «ура», нас забрасывают цветами. Все дома узких, кривых улиц залиты зеленью и цветами: саженные олеандры в полном цвету.

И в Дренове, как по всей дороге, триумфальные арки из зелени и цветов, с симпатичными надписями: «Добре дошли наши освободители», «Братская любовь» и пр.

После отдыха в несколько минут поехали дальше и в пятом часу прибыли в Габрово.

Та же встреча, только еще больший энтузиазм, невероятный подъем духа, искренняя сердечность.

Утром мы выехали в экипажах на Шипку...

Опять чудные картины!

Отъехали верст пять до Червеного Брега, где последовала остановка. Дальше так круто, что лошади не берут. Идет перегрузка багажа в фуры; коляски, в которых ехали гости, не привыкшие к горной езде верхом, перепрягаются: вместо лошадей появляются буйволы!

Тихо – но возможно!..

Кавалерийские лошади к услугам желающих. Это – частью местная недурная горная порода, напоминающая наших кабардинок, частью – венгерские лошади с присутствием чистой крови.

Я взял первую попавшуюся лошадь из строя... Лошадь оказалась подходящей – она сослужила свою службу. Первым делом я приказал снять мундштук, несмотря на увере-

ния, что без мундштука на ней ехать нельзя. Это оказалось неправдой, и она без мундштука шла великолепно, хотя приходилось немного работать и держать ей голову при крутых спусках, куда она рвалась, и – большое несчастье – спотыкалась нередко, что достаточно неприятно, особенно на узких карнизах каменных гор: с одной стороны скала, с другой – бездна!

С момента, когда мы пересели верхом, подъем становился все круче и круче...

Через какие-нибудь полчаса те вершины, которые казались нам из Габрова неприступными, были уже глубоко под нами.

Дорога шла зигзагами кверху...

Поднимаемся все выше и все выше... Уж облачко кое-где под нами...

Здесь что ни шаг – воспоминания прошлой войны...

* * *

Проехали местность около горного ключа, хорошо памятного защитникам Шипки, из-за которого дрались русские и турки, одновременно ходя за водой.

Выше, на дороге – памятник с надписью: «Братская могила». «В память павшим героям при защите Шипкинского перевала с 9-го августа по 28-е декабря 1877 года. 36-го Орловского полка капитан Клиентов, прапорщики Доценко и

Дмитриев, шт.-кап. Гришанов и нижних чинов 482. 9-й артиллерийской бригады полковник Бенецкий, шт.-кап. Гречишников, поручик Зенькович, нижних чинов 35. Брянского полка майор Молоствов, капитан Брянцев, прапорщики: Гюне, Герасимов, Скородинский, нижних чинов 375». Все это написано на четырех сторонах памятника.

Много виделось по пути таких братских могил! 12000 вышло из строя в шипкинских боях, не считая погибших в пропастях и замерзших!..

Я уехал вперед всех. При подъеме к Стальной батарее меня остановила толпа стариков-болгар, георгиевских кавалеров, и один из них спросил меня: едет ли генерал Столетов? Все весьма обрадовались, когда я дал утвердительный ответ.

Это старые дружинники – герои, вышедшие из Шипки встречать своего любимого командира.

А вот и Стальная батарея с ее двумя памятниками. Выше – самый высокий пункт горы св. Николая – Промежуточная батарея, и Орлиное гнездо над нами.

Это груда скал, каким-то чудом держащаяся на заоблачной вершине, – скал, торчащих кверху, висящих над безднами.

Это высшая позиция русских войск...

Мы остановились на этом пункте дороги. Красивая группа образовалась на вершине: группа военных всадников, покрытых пылью, остановилась над стремниной, на самом обрыве, – группа боевых генералов и полковников с белыми

крестиками, заработанными здесь, а впереди всех могучая, стройная фигура молодого генерала. Последний, сдерживая коня на краю стремнины, указывает бывшие позиции и дает объяснения.

Это был генерал Романов, который знал все позиции. Каждый из героев войны знал только то место, где он был. Генералу Романову судьбина судила иначе. Он был тогда саперный подпоручик и укреплял всю Шипку. Всюду, днем и ночью, он посещал позиции и знал все. Два раза был ранен, оба раза оставаясь после ран на позициях и продолжая свое дело. Он рассказал присутствующим историю каждого боя, демонстрируя свой рассказ на этой раскинувшейся перед нами и под нами рельефной карте горной природы...

Это был высший пункт дороги, и отсюда мы ринулись вниз по страшно крутому пути, карнизами идущему над бездной. Путь трудный, все время приходится держать коня на коротком поводе... Спускались очень быстро...

А вот под нами и знаменитая Долина Роз, долина реки Тунджи. На необъятное пространство раскинулась она. Под нами заблестели главы шипкинского храма.

* * *

Там, вверху, грозные скалы Орлиного гнезда, нависшие над дорогой, обрывисто сбегаящей с упитанной кровью горы св. Николая на Долину Роз. Внизу эта дорога заканчива-

ется каменной площадкой, на которой и сооружен храм-памятник, воздвигнутый на костях героев, павших за свободу соплеменников.

Яркое, блестящее, с золотыми главами здание храма оживляет серые скалы – кладбище героев, переносит мысли очевидца к грозному времени войны, к томительным годам рабства и турецких зверств над соплеменниками, и солнечный луч, играющий в золотых главах, успокаивает сердце, говорит о счастливом будущем страны.

Нависшие над церковью-памятником стремнины были усыпаны тысячами народа, не нашедшего места внизу, на площадке.

Горы жили!

Жила дорога, ведущая с высоты св. Николая... Она металась, двигалась... Это была узкая извилистая черная полоса, движущаяся, как громадная змея, переливающая искорками... Двигалась она потому, что была переполнена войсками, которые поднимались на заоблачные позиции для маневров, и сверкали искрами на ярком солнце их штыки, кровавые и грозные четверть века тому назад, блестящие и мирные теперь.

И под торжественный благовест двигались темные массы войск к Орлиному гнезду.

Множеством черных точек по козьим тропинкам спускались вниз балканские горцы, собранные на великое торжество.

Колокольный звон переливался в ущельях Балкан, как бы говорил теперь:

«На Шипке все спокойно!»

* * *

В 4 часа утра пришлось встать, чтобы успеть подняться на гору св. Николая. Лагерь к этому часу уже зашевелился. Ночью спустился туман, земля была сыра, сапоги, стоявшие на земле в палатке, настолько отсырели, что с трудом их можно было надеть. Около 5 часов утра головы Балкан были в белых мохнатых шапках, а бока гор местами казались обложенными ватой. Облака были густы, ждать хорошего дня было трудно.

У палаток нашего Шейновского лагеря уже стояли оседланные кони, и я ранее других поскакал на Шипку, до которой от Шейнова версты три.

Долина Роз, через которую шел наш путь, была одета легким туманом, ущелья гор заволокло облаками. Одна освященная вчера церковь-памятник горела яркими главами у подножия Балкан.

Какая прелесть, какой необъятный простор эта Долина Роз, ограниченная с севера Большими, а с юга Малыми Балканами. Гладкая, ровная. Вся местность заставляет думать, что это было когда-то дно моря. Вдоль долины, ближе к северу, совершенно правильной линией тянется ряд громад-

ных курганов, напоминающих наши южнорусские скифские могилы, только эти несравненно больше. Говорят, что они существовали еще до римского владычества, но здесь никогда и никто еще не раскапывал их. Самый большой курган, вправо от нашей дороги, знаменит тем, что на нем выкинул белое знамя и сдался Скобелеву Вессель-паша 28 декабря 1877 года.

Прежде, во время войны, эти курганы были связаны траншеями, но теперь траншеи давно распаханы, и там, где лилась кровь, мирно растет хлеб.

Налево от дороги вчера был громадный лагерь, а теперь он снят – войска ушли в горы. Они изображают южный отряд, турецкий. Северный отряд еще вчера ушел в горы, в то время, когда происходило освящение храма. Стройные колонны, блестя на солнце штыками, ползли вверх, на Балканы. За ними с великими трудами везли артиллерию, чтобы занять позиции вокруг горы св. Николая, изображая русские войска.

Я остановил лошадь и решил сделать подъем пешком, по тем горным тропинкам, по которым тогда пробирались турки, охотники Сулеймана. Кстати, нашлось несколько человек горцев болгар, которые знали каждую козью тропу, а один из них – старик дружинник, который все время войны провел на Шипке.

Мы поднимались сначала по дороге, снизу доносился неясный шум переполненной народом деревни Шипки, но ее

не было видно за облаками. Где-то в стороне раздался крик. Это один из офицеров сорвался с лошадьёю под кручу, но, как потом оказалось, отделался только ушибом.

Несколько раз мы бросали дорогу, сворачивали в сторону и выгадывали пространство, перегоняя конных, много ранее нас уехавших из Шипки. Это выгадывание пространства было утомительно. Зато я постиг те невероятные трудности, которые испытывали турки, осаждавшие Шипку, и пришел к тому убеждению, что они совершали невозможное! Каменные скалы, усыпанные острыми обломками кремня, давали себя знать. Особенно в одном месте, уже в виду Орлиного гнезда, висевшего над нами своими серыми скалами, приходилось трудно.

Возьмите ломоть черного хлеба, поставьте его в глубокое блюдо так, чтоб узкая корка его равнялась с краями блюда, и вы можете представить тот переход, по которому провел меня мой старый горец.

Громадная пропасть была перегорожена каменным узким гребнем поперек, и вот по этому гребню, на котором местами едва можно уставить ногу, пришлось пройти, чтоб выгадать пространство.

Но благодаря этому мы, выйдя на дорогу, перегнали верховых. Я догнал ехавшего на горном коне донца, войскового старшину В.В. Мержанова, и он, видя мою усталость, сказал мне:

– Отдохните по-драгомировски, как нас в горах Михаил

Иванович отдыхать учил!

И, наклонившись, сунул мне в правую руку ремень от стремени. Я взялся за ремень и, опираясь на него, пошел за конем совершенно легко. Вся усталость прошла, только платье промокло в облаках и чувствовался серьезный озноб, тем более что ветер усиливался к вершине. Но появлялась надежда, что ветер прогонит облака, настолько густые, что в нескольких шагах не узнать человека.

Так и случилось.

Когда мы поднялись на высшую точку дороги, на то место, где была Стальная батарея, ветер достиг силы урагана, и облака обрывками мчались к северу. Горизонт начал открываться.

На высоте на месте Стальной батареи стоял памятник на братской могиле. Немного ниже мы также миновали братскую могилу, каменный крест которой солдатик-пионер обвязывал при нас для сегодняшнего дня черным крепом. Много таких братских могил и памятников было по всему Шипкинскому проходу.

А главный – на Стальной батарее. Это громадный каменный обелиск, на нем рельефом орел и надпись:

«7-го июля 1877 года. Занятие Шипкинского перевала под начальством генерал-адъютанта Гурко. 28-го декабря 1877 года пленение турецкой армии. Генерал-адъютант Святополк-Мирский, генерал-лейтенант Скобелев, под главным начальством генерал-лейтенанта Радецкого».

Я поднялся на высокую точку, на каменное Орлиное гнездо. Здесь ни куска земли, ни признака растительности. На высшей его точке крест. Отсюда вид был поразительный. Балканский хребет с сотнями отдельных вершин лежал подо мной, и смотришь на эти горы сверху, как на рельефную карту.

Только наравне кажется один Бедек, лесистая вершина которого была занята грозной для Шипки турецкой батареей, прозванной тогда нашими героями Девятиглазой. Ниже, на том же хребте, другая батарея – Воронье гнездо. И теперь на той и другой копошились люди, устанавливая орудия...

Через час должен был начаться бой – повторение боя 11 августа 1877 года.

* * *

Блестит стальной щетиной подъемный карниз Орлиного гнезда, и далее, по гребню скал, на самой Стальной батарее сплошной линией лежат стрелки, повиснув над бездной. Так было и 11 августа 25 лет назад. Их дула обращены на грозный хребет Бедек, покрытый лесом. На высшей точке Бедека – грозная Девятиглазка и ниже немного – не менее грозное Воронье гнездо.

Вот с Бедека грянул выстрел... Другой... Белые клубы порохового дыма на минуту забелили черневшийся лес... Это заговорили орудия Девятиглазки. Откликнулась им наша

Стальная батарея. На противоположной стороне Центральная загремела по неприятелю. Зарокотали ружейные залпы у ключа, внизу, в пропасти, зашумела и Волынская горка, с которой отступать русским войскам. В защиту им грянули горные орудия Промежуточной батареи, находящейся на уровне Орлиного гнезда, недалеко от него.

Орудия стояли под крестом братской могилы, на высшем пункте батареи. На памятнике надпись: «Братская могила. 14-й артиллерийской бригады князь Мещерский, 14-й пехотной дивизии поручик Годилю-Годлевский, подпоручик Сапожков и нижних чинов 314». Недалеке я нашел между камнями две человеческие кости, почерневшие и пожелтевшие от времени, и положил их под крест... И в других местах грозной позиции попадались кости... Вот пожелтевший череп с пробитой пулей лобной и затылочной костью... Много костей...

Промежуточная батарея – удобнейший пункт для наблюдения: все позиции открыты с нее.

Бой кипит... На всех горах клубы орудийного дыма и узкие пояски ружейных залпов или учащенного огня стрелковой цепи... Особенное внимание обращается на Волынскую горку... К выбитым войскам уже спешат подкрепления, строятся в колонны к атаке, начинают наступать на Волынскую горку. Им помогают орудия Промежуточной батареи.

Все кругом в огне и дыме выстрелов. То здесь, то там, глубоко под нами, на краях стремнин, на лесных скалах, на жел-

тых брустверах блещут штыки, лезут люди, гремят орудия. Вот уже пробуют штурмовать Стальную батарею.

Черные точки лезут на кручу, белые стреляют в них сверху. Черные солдаты изображают турок, белые – русских и болгар.

Черные уже спустились. Они добрались на расстояние 200 шагов до северной цепи. Левее от меня турки лезут на Центральную батарею... Забрались уже на северный склон св. Николая, но там натыкаются на болгарскую дружину Л.Д. Вяземского и летят назад...

Левее – Волынская горка вся в дыму... Наступление идет по всем позициям...

А все эти позиции, раскинутые подо мною, – грандиозная могила 12000 убитых... Не считая замерзших зимой и без вести пропавших в бездонных пропастях...

Неприятель лезет на Круглую батарею Бенецкого, но Брянский полк и картечь отбрасывают его вниз... Лезет неприятель на Зеленую гору Липинского – плохи Липинского дела, народ перебит, но позиция еще держится... Он просит о поддержке, но дать нечего... Генерал Н.Г. Столетов посылает часть своей удалой дружины, ослабляя себя...

Так и воскресало передо мной в эти минуты все прошлое... Вокруг меня участники былой кровавой бойни, они рассказывают о прошлом.

От серьезного до мелочей.

– Вот здесь, – указывает один генерал по направлению к

Круглой батарее, – денщик командира охотился за зайцами и угощал нас кулешом... Там перестрелки, турки – а он свое: бьет и бьет зайцев...

– А вот там Бенецкого убили... Только высунулся из-за бруствера – и пуля попала ему в рот...

А турки лезут и лезут по всем линиям... Положение русских становится отчаянным. Потеря Волынской горки ужасна...

Но вот вдали, по габровской дороге, на казачьих лошадях прибывает 16-й стрелковый батальон, спешивается и строится... Вот еще надвигаются снизу резервы 4-й бригады.

Фланг и тыл обеспечены, дух поднят... теперь с севера турки не страшны.

Рисуется полная картина шипкинского боя...

Вдруг все затихло... Грозное затишье! Только с Бедека громыхает батарея. Но затихла и та...

Страшно становится: чувствуется конец!

Неприятель молча двигается на позиции.

Ожидание томительное...

Только стрелки с гребня Промежуточной батареи сделали три залпа по показавшемуся внизу турецкому батальону и рассыпали его... Вот грянула Стальная батарея... Где-то внизу загремело «ура»... Около шоссе, близ Волынской горки, строятся колонны, рассыпается цепь... С Волынской горки гремят выстрелы... Белые полосы цепи перебегают открытое место, за ними стройно, широким шагом, движутся

колонны – и опушка Волынской горки пестреет белыми живыми картинами: русские готовятся к атаке... Правее турки устремились на дружинников, но все их атаки отбиты. Эти войска спустились с Бедека и полезли на наши батареи.

Атака по всей линии... «Ура», и выстрелы слились... На всех позициях стремительно атакуют русских, на Волынской горке русские атакуют турок и, наконец, занимают горку.

Турки отбиты. Горка занята. Бой кончился победой русских.

Картина шипкинского боя как живая! Горнисты дудят отбой. Бой окончен. Войска сползаются со всех сторон к Стальной батарее, к Зеленому шатру.

Шипкинские орлы спускаются с неприступных заоблачных вершин.

Проходит час. Войска выстраиваются по скалам св. Николая вокруг памятника. К памятнику возложены венки – от каждой части участвовавших на Шипке войск, а чешская депутация из Праги принесла свой венок от чешского народа.

Туман прошел. Только горы синеют от дыма выстрелов, да сквозь дым этот там внизу, под нами, виднеются Долина Роз и Малые Балканы за ней, окутанные синей дымкой.

Время от времени налетают порывы урагана.

Вот началась и панихида.

Десятки тысяч народа и войск опустились на колени... Старики плачут... Кругом выстрелы салютов – залпы батарей и грохот ружей...

А над нами солнце, яркое южное солнце, так же беспристрастно светит над нами, переживающими торжественную минуту, как 25 лет тому назад оно освещало трупы героев на этих заоблачных высотах.

На завтра назначался шейновский бой.

* * *

Шейновский бой 28 декабря 1877 года был повторен 17 сентября 1902 года.

И с полной иллюзией.

Около девяти часов утра вправо от Шейнова, если смотреть на Шипку, уже дымилась ружейные залпы. Это отряд Святополк-Мирского отстаивал свои позиции, взятые накануне.

За ночь молодцы-саперы укрепились – все шло для укреплений: и мерзлая земля и неприятельские трупы.

Стрелки уже заняли виноградники и розовые плантации деревни Шипки, и выбить их оттуда было не так-то легко.

Бой справа все разгорался сильнее и сильнее. Русские уже заняли курган Острицу. Гремели орудия.

Слева, у Иметли, строились боевые колонны Скобелева, как и тогда, 28 декабря 1877 года, строились около того самого кургана, на котором стоял Скобелев, руководя боем.

На этом самом кургане, осыпaeмый гранатами, Скобелев отдал приказание:

– Если меня убьют – слушаться графа Келлера, он знает все!

Граф Келлер заступил в этот день место начальника штаба полковника А.Н. Куропаткина, раненного накануне на Иметлинском перевале.

Здесь Скобелев решил окружить Шейново кавалерией, взять его и отрезать отступление туркам.

Так и сделал.

Пока выброшенная под выстрелы горная артиллерия билась с шейновскими батареями, войска были выстроены в боевые линии, знамена развернуты, кавалерия Дохтурова брошена в обход Шейнова.

И сейчас, через 25 лет, я поражаюсь той же картиной, став на опушке шейновского леса.

Направо все поле у гор в дыму: турки сбивают Мирского с его позиций, переходят в наступление, но их снова отбрасывают, и снова они успешно атакуют курган Шишмицу.

Вот русские бросаются на курган, Вессель-паша принимает атаку и начинает отступать к самому большому кургану, где сосредоточивает войска. Дым, гул выстрелов.

Смотрю на гору св. Николая. Сегодня она безоблачна. Каменные громады Орлиного гнезда блестят на солнце.

Сегодня там никого нет.

А 25 лет назад, в этот самый час 28 декабря, там было страшное, кровавое дело.

С утра день был туманный. Облака скрыли горы. Радец-

кому все время не было видно, что творится внизу. А внизу творилось неладное: дела Мирского были плохи.

Радецкому оставалось одно: не допустить турецкие полки спуститься вниз, на помощь Вессель-паше – тогда дело русских окончательно бы погибло.

И старый боевой генерал не допустил этого. Он бросил в лоб туркам сверху свои войска и задержал турок.

Дорого это стоило орлам Орлиного гнезда.

Об этом мне рассказал полковник М.А. Надеин, тот самый Надеин, который, командуя охотниками и стрелками, десять раз бросался с верхней позиции на турок, в атаку.

– Был полдень. Мы тихо спустились по опасной круче в тумане, – говорил мне Надеин, – и бросились на турецкие окопы через глубокий ров. Гранаты из орудий с Девятиглазки и Вороньего гнезда разрывались среди нас. Мы шли по трупам. Турки били на выбор. Сзади надвигались новые колонны. Люди падали. Несколько раз мне приходилось бросаться в атаку. Почти никого не оставалось кругом... Трусами завалили ров, дорогу. А мы все наступали, все дрались. Занимали один окоп за другим, устилая трупами, уливая кровью. Но это было необходимо.

Да, эта жертва тысячи храбрецов была необходима.

Выбыло из строя в полчаса 1700 человек!

Самое ужасное было отступление из взятых завалов вверх, опять под Орлиное гнездо.

Не успели успокоиться, как на Николае опять услышали

«ура». Испугались: думали, контратака.

Но на этот раз их ждала радостная весть: бежит мимо них казачий урядник и кричит, что Вессель-паша и все турки сдались. Это был урядник Абадзиев.

Теперь наверху никого не было. Там только предполагаемый бой: все равно, тогда были облака, и ничего бы снизу видно не было. Зато внизу, в долине, сражение кипело на громадном пространстве.

Слева скобелевцы двигаются под горячим огнем орудий и громами залпов на окопы Шейнова.

Турки начали отступать.

Вот мимо меня промчалась турецкая кавалерия.

Черной массой промчалась она мимо кургана Весселя-паши, мимо Шейнова, которое с другой стороны окружала кавалерия русская.

Но башибузуки в числе трех тысяч успели ранее русской кавалерии и, прорвавшись, умчались к Казанлыку.

Это единственное войско, спасшееся тогда от плена бегством.

Казакам это не удалось. Когда штурмовали Шейнов с севера, генерал Дохтуров с 1-м Донским казачьим полком обскакал Шейново наперерез бегущим к Казанлыку турецким войскам и ударил в шашки.

Донцы 1-го полка, в стремительной атаке изрубив несколько сот турок, взяли два знамени и шесть тысяч солдат в плен. И сейчас за Шейновом повторена была эта атака...

А скобелевцы налезают на окопы. Сзади меня в Шейнове загремели залпы – это выбивают турок из улиц и садов.

Вся долина в дыму, грохот непрерывный.

В самые серьезные минуты бывают курьезы; перед отступавшими турками выскочил заяц и помчался по полю. Это произвело временное оживление, кто-то даже бросился за ним бежать... Хохот... Веселье...

А черные турки все стягиваются к Вессель-паше.

Скобелевцы, взяв окопы с боя, много потеряв убитыми, идут с развернутыми знаменами под музыку, как на параде, по вспаханному полю... 25 лет назад они так же шли по снегу.

А Мирский с его измученными войсками в положении тяжелом, потеряно 2500 человек. Вессель-паша держится крепко, и слухи о подходе Сулеймана стоят упорно.

У Радецкого наверху слышны залпы: там тоже кипит дело.

А у Скобелева сквозь гром выстрелов слышна музыка, прерываемая время от времени «ура» атакующих.

В этом деле многие винили Скобелева за то, что будто бы он не поддержал вовремя Мирского и хотел приписать победу одному себе, что вел в атаку войска под музыку, как на параде.

Многие мне в глаза говорили это и теперь. А другие говорили, что если бы командиры отрядов поменялись, то победа была бы еще легче: Скобелев сумел бы справиться!

Как бы то ни было, что бы там ни говорили, а я скажу

только одно: когда турки узнали наступающего Скобелева, они закричали:

– Ак³ паша! Шайтан⁴ паша! – и бросились бежать.

А Скобелев скакал уже через Шейново и, отдав приказание графу Келлеру, чтобы в деревне прекратили кровопролитие, остановился на опушке, у красного полумесяца.

В это время на самом большом кургане Вессель-паша выкинул белый флаг.

И теперь турки отступали к кургану, а белые русские и болгарские войска окружали их стальным кольцом.

Еще выстрелы гремели, как слышались звуки отбоя.

Последний акт этих великолепных маневров был кончен.

Начальники скакали по направлению к Вессель-кургану.

Я ехал с есаулом Абадзиевым, горевшим на солнце своей конвойской черкесской, увешанной десятками орденов, среди которых скромно виднелись и три георгиевских креста, и блестяло золотое оружие «за храбрость».

И много интересного рассказывал мне храбрец есаул, бывший во время всей прошлой кампании урядником-ординарцем Скобелева. Последний умел выбирать людей!

Когда белый флаг был выкинут, Скобелев со штабом и все командиры окружили Вессель-пашу. Он сдался.

А наверху, у Радецкого, еще слышались выстрелы.

Повторяю рассказ Абадзиева.

³ Ак – белый.

⁴ Шайтан – черт.

– Надо уведомить Радецкого! – сказал Скобелев и крикнул: – Абадзиев!

Я подъехал.

– Марш на Орлиное гнездо, передай Радецкому, что Вессель-паша сдался, и скажи там турецкому коменданту, чтобы он тоже сложил оружие, и передай ему, что если я через два с половиною часа не получу от него ответа, так все они у Магомета в раю будут.

Я повернулся и поскакал исполнять приказание.

Передо мной высились от самой подошвы покрытые снегом Балканы, голова св. Николая была закутана облаком. Не успел еще я доехать до Шипки, как за мной скачет адъютант и передает мне записку от Весселя-паши, с приказанием сдаться для паши, коменданта шипкинских высот. Я спрятал записку и поскакал через Шипку, по дороге вверх.

Вскоре так стало круто, что я слез с коня и повел его в поводу. Я горец, но скажу, что идти было не легко... На половине горы меня остановили два черкеса, один взял коня, другой схватил меня. Я потребовал, чтобы меня вели к паше. Мы стали подниматься вверх, миновали цепь, шли мимо войск, которые мало обращали внимания на меня, одетого в бурку и папаху. Наконец черкесы привели меня к землянке. Один вошел в нее, потом вышел и толкнул меня в дверь. Посередине стоял громадного роста паша. В углу сидел человек, оказавшийся потом переводчиком. Я дословно передал слова Скобелева и записку.

Этот громадный человек, прочтя записку, опустил на скамью, положил перед собой эту записку и, опершись на локти, горько заплакал...

Потом он встал, оправился и, пригласив меня следовать за собой, пошел из палатки. Не помню, как это вышло, но я схватил его рукой за шашку. Паша остановился, отстегнул шашку от пояса – я хорошо помню только одно, что он был подпоясан, – и отдал мне шашку, которую я взял в правую руку. Мы вышли. Паша подошел к брустверу, мы вошли в него. Под бруствером сидели и лежали солдаты и офицеры. Он им начал говорить, что приказано сдаться. Внизу, под нами, начался страшный гул голосов. Из-за бруствера высунулся до половины тела офицер с горящими глазами, страшным выражением и начал что-то дерзко возражать паше. Снизу ему вторили и гудели.

Жутко стало!

Паша сверкнул глазами, его за минуту грустное лицо блеснуло гневом, он быстро обернулся ко мне, и не успел я ничего сообразить, как он выхватил эту мою шашку из ножен, взмахнул ею, и дерзивший офицер покатился за бруствер с разрубленным черепом.

Сразу все смолкло.

Паша далеко отбросил мою шашку на снег, где она проложила кровавую полосу, и энергично отдал приказание.

Все успокоилось. Войска молча стали складывать оружие. Не знаю, как это вышло, но я взял в ножны мою шашку, сно-

ва подошел к паше и снова передал приказание Скобелева, прибавив, что я еще должен сообщить о сдаче Радецкому.

Паша молча показал мне рукой на верх горы, и я отправился пешком по дороге. Через несколько минут я был у Радецкого. Он сидел в землянке. Я передал ему о взятии Веселя-паши. Он сначала не верил, а потом спросил: «Где начальник штаба?»

Я выскочил из палатки и закричал начальнику штаба. Собрались офицеры... Вышел Радецкий. Радость была неопи-санная. «Ура» грянуло кругом. Я плохо соображал, что со мной, рассказывая мое происшествие с пашой-комендантом, а потом подал его шашку:

– Вот оружие паши!

Радецкий взял у меня эту шашку, подержал ее в руках, посмотрел и потом, возвратив мне ее, сказал:

– Молодой человек, – и купил меня Радецкий этим словом на всю жизнь, как отец, дорог он мне, – возьмите эту шашку себе, вряд ли повторится в жизни вашей такой случай, что паша при таких условиях отдаст свою шашку!..

Я, не помня себя, оставив шашку в чьих-то руках, бросил-ся вниз уведомлять Скобелева. В турецких ложементх солдаты уже сложили оружие. Я разыскал в их лагере свою лошадь и поехал вниз. Навстречу мне поднимались с уведомлением к Радецкому Столетов и Хоранов.

– Раньше нас попал! – выругались мне вслед.

Я вернулся к Скобелеву, когда уже стемнело.

Внизу шло ликование... А наверху, на заоблачных позициях, крутила метель, но сквозь свист и вой урагана слышалось радостное, могучее «ура» победителей.

Они знали, что теперь «на Шипке все спокойно!».

* * *

Борцы за свободу! Я видел вас всюду: на вершине Орлиного гнезда с дымящимися винтовками в руках, видел колена преклоненными со слезами на глазах на заоблачной панихиде у памятника горы св. Николая. Я видел, как вы мочили свои длинные седые запорожские усы в вине за обедом в день открытия памятника; я видел ваш железный строй на шейновском параде и, наконец, я видел вас кучками, идущими по горным дорогам к своим домам после шипкинских торжеств!

Спокойны и могучи эти богатыри, дети Орлиного гнезда, борцы за свободу!

Грудь каждого блестит орденами за храбрость.

И между этими орденами почти у каждого имелись комитетские медальки.

Это – знаки отличия, показывающие, что обладатели их 26 лет назад первые, еще до сербской войны, восстали против своих угнетателей турок и первые своей кровью купили освобождение родины.

Не будь их – и не было бы этого шипкинского памятника,

не стеклось бы 15 сентября к подножию Балкан столько почетных гостей. А гости эти любят старые дружинники, которые выстроились вокруг памятника-храма.

Все они помнят турецкое иго, зверства башибузуков, разоренные села свои, похищенных жен и дочерей, поруганную святыню...

Это люди, у которых была разбита жизнь, отнято все дорогое, близкое сердцу...

И этот гнет создал освобождение. И брал тогда каждый из них нож, привязывал на крест кусочек земли из-под развалин своего дома и шел в горы с одной целью: мстить за своих погибших, добывать свободу живущим!

Около каждого из них собирались такие же юнаки, выбирали воевод и дрались с врагом.

Западная Европа окрестила этих борцов за свободу разбойниками, турки – мятежниками...

Так звали тогда этих вестников свободы Болгарии...

Воеводы и юнаки мстили своим угнетателям за своих поруганных жен и дочерей.

Началось мстью – кончилось освобождением.

И чем больше бесчинствовали турки, тем больше осиротевших юнаков уходило в горы, тем больше лилось крови.

Трудна была жизнь юнаков-мстителей и их отважных воевод!

Зимой, когда Балканы одеты снегами, юнаки скрывались по селениям и ждали благовещенского колокола.

Вместе с первым его звуком оживали горы.

Я видел их в дыму, в пыли,
Как лезли на вершины,
Как стройно, как отважно шли
Их вольные дружины.
В крестах и ранах старики —
Герои дней далеких,
Движенья быстры и легки,
И на скалах высоких,
Среди туманной, белой мглы,
Вздымаясь по стремнинам,
Слетались горные орлы
На их гнезде Орлином...
Грохочут выстрелы вдали,
Вокруг в дыму долины...
Привет, привет вам, соль земли,
Геройские дружины!

* * *

Торжественна и задушевна была встреча русским гостям в Болгарии.

Проезжая Болгарию, я видел всюду задушевные встречи, я вглядывался в самые мелочи общего, захватывающего вос-торга народного.

И особенно радовались нам мужчины и женщины пожи-

лые, которым памятен турецкий гнет и неистовства башибузуков.

Сколько искренних слез блестело на их старых лицах! Они помнят прошлые ужасы и смотрят на русских гостей, как на людей, беззаветно проливавших свою кровь за их свободу. Как только они не выражали своего восторга!

Дети вторили им.

Молодежь с любопытством смотрела на невиданное зрелище, на не виданных ими людей, на которых им указывали как на героев, дравшихся за свободу Болгарии. Чем дальше – тем сильнее восторги.

За домашним очагом старики рассказывали молодежи и детям о бедах юности своей, воскрешали тяжелое прошлое и поселяли любовь к освободителям, братьям русским.

Не будь этих празднеств – умерли бы старики, и забыла бы молодежь, и не знали бы дети, как досталась им свобода их родины...

А теперь все поколения видели своих освободителей, видели любовь к ним своих отцов и матерей, поняли взаимную братскую любовь.

Всею душой принимал нас народ болгарский, всем сердцем!

И русские гости остались довольны сердечным приемом, искренней любовью народа болгарского.

Через день мы отправились в Россию.

На обратном пути те же душевные проводы, как и встречи,

те же шпалеры народа около триумфальных арок из зелени с надписью «Освободителям»...

Наши коляски буквально забрасывали цветами, венками, фруктами, совали в руки корзины с виноградом и со слезами прощались при остановках...

Прощайте, заоблачные Балканы, прощай, Болгария, симпатичная и многострадальная Македония!..